

ISSN 2225-5346



СЛОВО.РУ: БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

2013

1

Издательство
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
2013

СЛОВО.РУ:
БАЛТИЙСКИЙ
АКЦЕНТ
2013
№ 1

Калининград:
Изд-во БФУ
им. И. Канта, 2013.
125 с.

Точка зрения авторов
может не совпадать
с мнением редсовета
и редколлегии

Редакционный совет

А. П. Клемешев, д-р полит. наук, профессор, ректор БФУ им. И. Канта (Россия, Калининград) — председатель;
М. Е. Швидкой, д-р искусствоведения, профессор, зав. кафедрой государственного управления в сфере культуры факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия, Москва) — сопредседатель;
Ф. Апанович, д-р филол. наук, профессор, прорекан филологического факультета Гданьского университета (Польша, Гданьск); *М. Н. Громов*, д-р филос. наук, профессор, зав. сектором истории русской философии Института философии РАН, проректор Государственной академии славянской культуры (Россия, Москва); *И. Н. Данилевский*, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории НИУ ВШЭ (Россия, Москва); *Л. А. Кудрявцева*, д-р филол. наук, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, президент Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, член Президиума МАПРЯЛ (Украина, Киев); *Г. Кундротас*, д-р филол. наук, профессор, декан филологического факультета Литовского эдукологического университета (Литва, Вильнюс); *Б. Н. Тарасов*, д-р филол. наук, профессор, ректор Литературного института им. А. М. Горького (Россия, Москва); *Б. Ханзен*, д-р филол. наук, профессор, директор Института славистики Регенсбургского университета (Германия, Регенсбург)

Редакционная коллегия

Т. В. Цвигун, канд. филол. наук, доцент — ответственный редактор;
Н. Г. Бабенко, д-р филол. наук, профессор;
А. И. Васкиевич, канд. филол. наук, доцент;
В. И. Гальцов, канд. ист. наук, доцент;
В. И. Повилайтис, д-р филос. наук, доцент;
В. А. Смирнов, канд. полит. наук;
А. Н. Черняков, канд. филол. наук, доцент

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫК: ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

<i>Костанди Е.</i> Русский язык в современной Эстонии: функционирование, изучение, специфика.....	7
<i>Польця Н.</i> Что говорят о грехе русские и латышские пословицы и поговорки.....	24

ЗНАКИ ИСТОРИИ

<i>Сиари Ж., Шервашидзе В.</i> Образ Наполеона во Франции.....	35
<i>Гильманов В.</i> Феномен Наполеона в германском духе эпохи Наполеона.....	47

СЛОВЕСНОСТЬ

<i>Дарьялова Л.</i> Герменевтика художественного моделирования и интертекст в романе Л. Леонова «Пирамида».....	59
<i>Ведела А. В. Е.</i> Чешихин – популяризатор сюжета о Тристане и Изольде в русской культуре.....	67
<i>Гордин А.</i> Антонс Аустриныш – переводчик Дмитрия Мережковского.....	74
<i>Погодина С.</i> Образ куклы в латышских и русских традиционных фольклорных текстах: аспект ритуальных практик.....	83

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

<i>Васютин О., Попадин А.</i> Городской палимпсест: градостроительная практика в Калининградской области (1945 – 1990).....	97
<i>Об авторах</i>	124

CONTENTS

LANGUAGE: THE PULSE OF TIEM

<i>Kostandi J.</i> The Russian language in modern Estonia: functioning, learning, features.....	7
<i>Polytsya N.</i> Russian and Latvian proverbs and sayings on sin.....	24

THE SIGNS OF HISTORY

<i>Siary G., Shervashidze V.</i> The image of Napoleon in France	35
<i>Gilmanov V.</i> The phenomenon of Napoleon in the German spirit of Napoleon's age	47

LITERATURE

<i>Daryalova L.</i> The hermeneutics of literary modelling and intertext in L. Leonov's novel <i>The Pyramid</i>	59
<i>Vedela A. V.Ye.</i> Cheshikhin as a populariser of the Tristan and Iseult motif in Russian culture	67
<i>Gordin A.</i> Antons Austrinš as a translator of Dmitry Merezhkovsky.....	74
<i>Pogodina S.</i> The image of a doll in Latvian and Russian traditional folklore texts: the aspect of ritual practices.....	83

DOCUMENTS OF TIME

<i>Vasyutin O., Popadin A.</i> The urban palimpsest: the urban development practices in the Kaliningrad region (1945–1990).....	97
<i>About authors</i>	124

**ЯЗЫК:
ПУЛЬС ВРЕМЕНИ**



Период фиксации и систематизации специфических черт речи диаспоры в последние годы сменяется стремлением к обобщению и рассмотрению зафиксированных особенностей с точки зрения более общих лингвистических проблем, таких, например, как вариативность языка, нормативность, характер номинации, прагматика, виды речевых жанров / дискурсивных практик и др.

Елизавета Костанди

В русских и в латышских пословицах нашли отражение христианские представления о неразрывной связи греха, искушения, наказания, спасения и божественной справедливости. В то же время очевидны национальные особенности отношения к греху и всей связанной с ним проблематике.

Наталья Польца

*Елизавета Костанди
(Тарту, Эстония)*

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОЙ ЭСТОНИИ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, СПЕЦИФИКА

Обобщаются наблюдения разных авторов за современным состоянием русского языка в Эстонии, обозначаются намечающиеся направления дальнейших исследований, характеризуются сферы употребления русского языка и особенности языковой политики. Специфика речи диаспоры описывается с точки зрения слов и словосочетаний, грамматических показателей, языковой рефлексии, времени, места, особенностей речевых практик, оценки; рассматривается влияние речевой ситуации на глубинные психологические, ценностные, когнитивные пласты языковой личности.

Ключевые слова: русский язык, социолингвистика, языковая политика, язык диаспоры, языковые контакты.



Как известно, один из детально исследуемых сегодня аспектов бытования русского языка — это его функционирование в условиях диаспоры, приведшее к появлению специфики в русской речи жителей Латвии, Армении, Казахстана и других стран постсоветского пространства и так называемого дальнего зарубежья. Возникновение в начале 1990-х годов множества новых реалий политического, экономического, социального, технического и иного характера, имеющих свои особенности в разных странах, неизбежно привело к изменениям и большей вариативности языка. Описание местной специфики в тот период стало основной задачей исследователей языка диаспоры, что и делалось в отдельных, часто не связанных друг с другом работах. Однако к концу десятилетия на-



зрела необходимость систематизации накопленных наблюдений и объединения усилий исследователей, занимающихся изучением русского языка в разных странах. Сформировались исследовательские группы, регулярно проводятся конференции, издаются сборники, посвященные русскому языку в условиях диаспоры, в частности в Эстонии. Так, для Балтийского региона своеобразной вехой стала прошедшая в 1997 году в Тартуском университете первая общая конференция, посвященная языку диаспоры, которую продолжили год спустя в Вильнюсском, а затем в Латвийском университетах. По результатам этих конференций вышли сборники статей [34; 41], авторы которых анализировали отдельные аспекты или ставили более общие цели [5; 24; 37] изучения языка в условиях диаспоры. В дальнейшем сотрудничество, к которому подключились представители многих стран, в том числе и России, переросло в постоянное [34; 35; 43]. Сейчас можно говорить о новом этапе исследований. Период фиксации и систематизации специфических черт речи диаспоры в последние годы сменяется стремлением к обобщению и рассмотрению зафиксированных особенностей с точки зрения более общих лингвистических проблем, таких, например, как вариативность языка, нормативность, характер номинации, прагматика, виды речевых жанров, дискурсивных практик и др. Настоящая статья является попыткой обобщить наблюдения разных авторов и обозначить намечающиеся направления дальнейших исследований. Подчеркнем, что сегодня существует множество публикаций на эту тему, которые далеко не все перечислены в списке литературы ниже, иначе последний был бы чрезмерно развернутым, по этой же причине в ссылках указаны не все работы, касающиеся конкретных вопросов.

Рассмотрение специфики русского языка в Эстонии предполагает хотя бы краткое описание того, в каких сферах и как используется сейчас русский язык в стране. В соответствии с действующим Законом о языке, принятом в 1995 году и неоднократно дополнявшимся, государственный язык Эстонии — эстонский, другие языки считаются иностранными. По данным последней переписи населения, по состоянию на 31.12.2011 года в стране проживало 321 198 русских, русским языком как родным пользовались 383 062 человека. Среди русских Эстонии примерно 37 500 так называемых старожилов, то есть потомственных граждан, чьи родители жили здесь еще до Второй мировой войны — во время первого периода существования самостоятельной Эстонской Республики. Большую же часть русского населения составляют люди, поселившиеся в стране после войны, или их потомки.

Среди старожиллов примерно 3 тыс. человек живут в сельской местности и являются носителями говора [24]. Это преимущественно староверы Западного и Северного Причудья, а также Принаровья. На территории страны есть регионы компактного проживания русскоязычного населения: Ида-Вирумаа (северо-восточный регион Эстонии), Западное Причудье, некоторые районы Таллина, Тарту, Пярну, в остальной части страны русскоязычное население не проживает компактно.

По сравнению с советским периодом русский язык в Эстонии, разумеется, утратил ряд функций, однако он более или менее активно используется в таких областях, как СМИ, образование, культура, экономика, наука, официально-деловая сфера, бытовое общение. Подробно о распространенности русского языка в Эстонии говорится в находящейся в настоящее время в печати совместной работе автора настоящей статьи и И. П. Кюльмоя, материал которой с согласия авторов частично был представлен ранее в журнале «Слово.ру: балтийский акцент» С. Б. Евстратовой [8]. Говоря о СМИ, повторим, что сейчас на русском языке издаются две общегосударственные ежедневные газеты («Молодежь Эстонии» и «Postimees на русском языке»), несколько еженедельников («День за днем», «МК Эстония», «Вести», «Здоровье для всех», «Деловые ведомости» и др.), региональные газеты («Столица» (двуязычная), «Южная столица», «Северное побережье» (двуязычная), «Чудское побережье» (двуязычная), «Нарвская газета» и др.). В Таллине выходят двуязычные газеты пяти районов города [1]. Работают государственная программа радиовещания на русском языке «Радио 4» и частные радиоканалы («Русское радио», «Sky Radio» и др.). Государственных телеканалов на русском языке нет, но на эстонском государственном канале ETV2 есть ряд передач на русском, некоторые эстонские передачи снабжаются русскими субтитрами, кроме того, функционируют частные телеканалы на русском языке. Эстония охвачена системой спутникового телевидения с набором основных спутниковых телеканалов России (НТВ Мир, РЕН ТВ, РТР Планета, ТВЦ и проч.) и других стран на русском языке. Осуществляет вещание спутниковый общепалтийский Первый Балтийский канал, основную часть которого составляют передачи российского Первого канала, дополненные общепалтийскими и латвийскими, эстонскими и литовскими передачами, транслируемыми на соответствующие страны. Эстония входит в число мировых лидеров по доступности и числу пользователей Интернета, и русскоязычное население имеет возможность получать местную информацию на русском языке, используя



русскую версию новостного портала «Делфи» (Delfi) и сайты русскоязычных газет. Разумеется, Интернет обеспечивает доступ к разнообразным российским, европейским и мировым СМИ.

Число общеобразовательных школ в Эстонии в последние годы сокращается в силу демографических причин, помимо этого русская школа претерпевает дополнительные изменения. По принятому еще в 1990-е годы закону с 2007 года начался переход (по одному предмету в год) гимназической ступени (10–12-й классы) на частичное (60 % предметов) обучение на эстонском языке. Так называемая основная школа (1–9-й классы) остается русскоязычной. При этом многие русскоязычные родители отдают детей в эстонские школы, мотивируя это необходимостью хорошо знать государственный язык. Речевые особенности таких детей-билингвов уже с конца 1990-х годов привлекают внимание специалистов [27; 28]. В то же время у других родителей и учеников перевод части предметов в русской гимназии на эстонский язык вызывает негативное отношение, и единства в оценке происходящего нет. Преподавание родного языка, в данном случае русского, разумеется, не переводится на другой язык, более того, по новой программе, которая действует сейчас, количество часов на этот предмет существенно возросло. Программы по родному (русскому) языку для основной школы и для гимназии, разработанные комиссией, в состав которой входили школьные учителя, преподаватели вузов, представители Министерства образования и науки, отражают современное состояние лингвистики, дидактики, методики преподавания.

В средних специальных и высших учебных заведениях большинство студентов обучается на эстонском языке, в меньшем объеме представлены русско- и англоязычные программы. Надо отметить, что многие, хотя и не все, русскоязычные молодые люди свободно владеют эстонским языком и еще одним иностранным языком, чаще английским. Кроме того, в высших учебных заведениях активно функционируют европейские программы обмена студентами и преподавателями, поэтому в вузовских аудиториях или, например, на улицах университетского города Тарту можно услышать не только эстонскую, русскую, английскую, но и немецкую, финскую, испанскую, итальянскую и другую речь.

Одним из аспектов функционирования русского языка в сфере образования является преподавание русского как иностранного. В этом качестве он пользуется популярностью среди студентов, в частности, потому, что работодатели довольно часто требуют от своих сотрудни-



ков знания русского языка. В общеобразовательных эстоноязычных школах РКИ занимает второе место после английского по числу изучающих его учеников.

Представлен русский язык и в культурной жизни страны, хотя, разумеется, не в полной мере. Выходят литературно-художественные журналы («Вышгород», «Таллинн»), в Таллине работает Русский драматический театр, в 2012 году открылся Русский музей, организуются экскурсии на русском языке в разных музеях страны, есть русская литература в библиотеках, проводятся летний праздник песни «Славянский венок», международный фестиваль древлеправославной культуры «Пейпус», фестиваль «Золотая маска в Эстонии» и т.д. Во многих регионах в школах и вузах есть русскоязычные самодеятельные коллективы. Финансовую поддержку мероприятиям часто оказывают Министерство культуры и фонд «Эстонский капитал культуры». В проходящих в Эстонии кинематографических, театральных, литературных фестивалях представлена и российская культура. Страну посещают с гастролями известные российские театральные и музыкальные коллективы, а также отдельные исполнители, в различных фестивалях участвуют российские режиссеры, актеры, писатели, журналисты.

В меньшей степени русский язык представлен в официально-деловой сфере. Язык делопроизводства в стране — эстонский, но в органах местного самоуправления по Закону о языке внутреннее делопроизводство может вестись на языке национального меньшинства, проживающего в регионе, а судопроизводство и следственные действия могут осуществляться на том и другом языке — в зависимости от обстоятельств. Закон устанавливает и ряд иных наиболее общих правил, в повседневной практике разные официальные тексты часто сопровождаются русским переводом. Так, на государственном языке работают парламент (Рийгикогу), канцелярия президента и другие государственные учреждения. Соответственно, тексты законов, межгосударственных дипломатических и других документов пишутся на эстонском языке. Однако и русский язык здесь представлен, правда, в основном в виде переводных текстов на бумажных и электронных носителях. Например, есть варианты сайтов государственной власти на русском языке: <http://www.president.ee/ru> (президентский сайт); <http://www.riigikogu.ee/?lang=ru> (сайт парламента); <http://www.eesti.ee/rus/> (государственный портал), русскоязычные версии сайтов министерств, департаментов, Государственного суда, сайты некоторых уездов, городов, партий, организаций и т.д. При Департаменте полиции и погранохраны существует переводческое бюро, где при необходимости с русского на эстон-



ский или наоборот переводятся документы, непосредственно касающиеся граждан (протокол допроса потерпевшего, подозреваемого или свидетеля, заявления граждан и т. п.), штатными переводчиками, работающими в каждой префектуре полиции, в том числе устно.

Официально-деловой стиль на русском языке представлен в сфере услуг населению, оказываемых банками, энергопредприятиями, телекоммуникационными, транспортными, строительными, туристическими и другими фирмами, сетями магазинов и пр. В сфере бизнеса русский язык может быть как переводным, так и оригинальным, в зависимости от национальности владельца и сотрудников фирм. Наряду с эстонским и русским в международных компаниях используются и другие языки.

Разумеется, в бытовой, личной, профессиональной и других сферах русскоязычные жители пользуются родным языком, при этом регулярно соприкасаясь с эстонским. В повседневной жизни можно наблюдать самые причудливые переплетения языков. Стоит добавить, что сейчас, в существующей ситуации многоязычия во всем Евросоюзе, в том числе и в Эстонии, активно пропагандируется и поддерживается освоение разных языков. Конечно, есть и проблемы, конфликты, нерешенные вопросы, неоднозначно, порой болезненно воспринимаемые людьми.

Представленность русского языка в разных функциональных сферах, постоянное сосуществование двух, а порой и нескольких языков, упоминавшиеся выше политические, социальные, экономические, культурные, бытовые и иные реалии формировали и продолжают формировать специфику местного русского. Она выражается, например, в наличии или отсутствии ряда видов речевых / дискурсивных практик, обусловленных тем, насколько русский язык представлен в разных сферах, в характере использования латиницы, эстонских заимствований (варваризмов, калек), местных неологизмов, в семантической переориентации слов и словосочетаний [9], в активности образования некоторых типов словосочетаний, в строении и функционировании некоторых видов текстов и др. В обзорной статье невозможно отразить всю эту специфику, поэтому остановимся только на ее наиболее заметных чертах.

Начавшееся в 1990-е годы изучение языка русской диаспоры осуществляется на разнообразном материале: СМИ (газета, радио, телевидение, Интернет), реклама, тексты прикладного характера (буклеты, этикетки, программы мероприятий и т. п.), разговорная речь, сленг, официально-деловые тексты, диалектный материал, общение в

интернет-среде, мемуарная литература и др. В первую очередь, разумеется, привлекают внимание наиболее очевидные признаки влияния эстонского языка (и шире — ситуации двуязычия в целом), а именно *иноязычные вкрапления* в русской речи. Это явление неоднократно изучали разные исследователи, начиная с фиксации первых немногочисленных, затем частотных языковых вкраплений и заканчивая их анализом с точки зрения общих вопросов номинации, референции, прагматики, переключения кода и т. д. [1; 18; 19; 24; 25; 39]. В письменных текстах иноязычные слова часто передаются латиницей, использование которой обычно обусловлено необходимостью установления однозначной референтной соотнесенности языкового знака и реалии [18; 19]. В устной речи подобные включения представляют неизменные или грамматически частично русифицированные эстонизмы. *Дополнительные вопросы о вступающих в силу с 01.07.2009 изменениях в выплате компенсаций по нетрудоспособности можно задать Eesti Haigekassa по электронному адресу...* (сайт Министерства культуры); *Postimees на русском языке* (название газеты); *От границы до границы! Походная тропа РМК от Оанду до Икла — 370 км удивительно красивых видов природы Эстонии!* (рекламн.); *Фестиваль Klaaspärlimäng 2011* (афиша); *У нас сегодня коолитус (koolitus — курсы); Ну я не помню там... хунд (hind — цена); Да лепинг (lepping — договор) подписать надо* (разг. речь).

В местных русских говорах, по наблюдениям исследователей [30; 33; 35; 42], картина аналогичная. Использование отдельных слов из другого языка может рассматриваться как наиболее простое проявление так называемого переключения кода, в полной мере наблюдаемого при переходе в процессе общения с одного языка на другой, что характерно в условиях сосуществования языков. Следует отметить, что своеобразное переключение кода происходит и в ситуации общения с русскоговорящими из других стран, когда приходится избегать употребления специфических местных наименований, которые могут быть непонятны собеседнику.

К отличительным чертам языка диаспоры относится и распространенность заимствований, особенно, как показывает анализ материала, скрытых, обычно *калек* и *полукалек* эстонских сложных слов или словосочетаний. Порой эстонским языком они тоже были заимствованы, что в отдельных случаях привело к появлению в русском языке в России и Эстонии (или в других странах) одинаковых или близких к перенятым из третьего, например английского, языка названий, однако, как правило, проникших в русскую речь через язык-посредник (эстонский). Распространенность калькирования в «эстонском» русском обу-



слова формирования устойчивых атрибутивных словосочетаний-наименований: *личный код, материнская зарплата, основная школа, семейный врач, больничная касса, налоговый департамент, касса по безработице, физическое лицо-предприниматель, целевое учреждение* и др. Очень активно их образование и закрепление происходило в первый период восстановления самостоятельного эстонского государства, когда возникло множество новых политических, социальных, экономических, бытовых и иных реалий, не имевших названий ни в русском, ни в эстонском языках. Общественно-политические организации, государственные институты, социальные структуры обычно сначала получали наименования (оригинальные или заимствованные) на эстонском языке, которые затем переводились на русский. В сферах торговли, рекламы, туризма при переводе эстонских текстов также регулярно используются подобные кальки, однако здесь они реже становятся устойчивыми единицами, ср.: *дружелюбный к детям, обогреватель воздуха, вешалка из дерева, концертный дом, полотенце для кухни, ответственное предприятие, перчатки для работы, сушеные абрикосы* и т.д. Причины и характер образования и функционирования таких единиц частично описаны [14; 19; 31], но разнообразие конкретного материала, особенности использования калькированных единиц в текстах разных функциональных стилей, их трансформации в процессе освоения заимствований нуждаются в дальнейшем анализе, что в настоящее время и делается. В русских говорах Эстонии, в речи старожилов в целом заимствования относятся не только к последнему периоду, но являются и более давними. Свыше 400 заимствований, встречающихся в говорах, были рассмотрены в магистерской диссертации О. Н. Бурдаковой [2].

Охарактеризованные выше словосочетания-кальки демонстрируют специфику языка диаспоры не только в области *номинации*, но и в *синтаксисе*. Атрибутивные словосочетания в русском языке отличаются, как известно, вариативностью (ср.: *чердачная лестница / лестница на чердак; московский гость / гость из Москвы; молочный кувшин / кувшин для молока; клетчатая юбка / юбка в клетку*). Как свидетельствует анализ материала, в условиях диаспоры вариативность оказывается значимым фактором, влияющим, особенно при переводе, на появление словосочетаний, которые часто формально и семантически правильны, однако воспринимаются как не совсем русские (ср.: *вешалка из дерева / деревянная вешалка; перчатки для работы / рабочие перчатки; полотенце для кухни / кухонное полотенце*). Лексика, морфологическая форма, тип и средства синтаксической связи, выбираемые переводчиком, оказываются тем «слабым местом», в котором русский язык восприимчив к

иноязычному влиянию. Анализ других синтаксических единиц на местном материале свидетельствует о том, что в синтаксисе «диаспорная» специфика проявляется прежде всего в характере связи между словами, частями сложного предложения или текста. Надо иметь в виду, что разнообразные тексты на русском языке в Эстонии могут быть оригинальными или переводными, последние, как отмечалось выше, в некоторых сферах деятельности широко распространены. В первую очередь именно при переводе «страдают» характер и средства синтаксической связи, а многочисленность переводных текстов влияет на то, что появившиеся в них при переводе специфические признаки влияют и на русский язык оригинальных текстов. Кроме характера связи, разумеется, можно говорить и о некоторых других синтаксических (и шире – грамматических) особенностях, однако они наблюдаются не столь регулярно, поэтому необходим дальнейший сбор и анализ разнообразного материала, чтобы говорить о тенденциях общего характера, а не только лишь о частных случаях.

В настоящее время можно утверждать, что наиболее очевидна специфика языка, а лучше сказать, речи диаспоры в области *графики, лексики, синтаксиса*. Вместе с тем есть и «скрытые» их отличительные черты, которые не столь очевидны, их выявление требует анализа объемного и разнородного материала. В речевой деятельности в условиях диаспоры формируются черты, отражающиеся не в отдельных языковых единицах и их признаках, а в том, что можно в самом общем виде определить как коммуникативно-прагматический и когнитивный аспекты. Это, например, изменение, в сравнении с российской действительностью, каких-то видов дискурсивных практик, характер и средства выражения оценки, особенности установления референтной соотношенности, ориентация на двуязычного адресата, языковая рефлексия, пространственно-временная локализация и др. Анализ этих черт на местном материале представлен в ряде работ, однако частично описаны лишь отдельные явления [6–8; 12–17; 21; 31], поскольку они с трудом поддаются формализации, систематизации, тем более сложно «вычлениить» в них местную составляющую. В рамках одной статьи невозможно полно охарактеризовать все отмеченные проявления, поэтому далее будут в общем виде рассмотрены отдельные примеры. Это, думается, даст некоторое представление о том, что понимается под «скрытой» спецификой русской речи и речевого поведения в условиях диаспоры. С этой целью остановимся на языковой рефлексии, пространственно-временной локализации и речевых / дискурсивных практиках.



Как известно, *языковая рефлексия* — постоянная составляющая речи, находящая отражение, в частности, в так называемых рефлексивах — «относительно законченных метаязыковых высказываниях, содержащих комментарии к употребляемому слову или выражению» [3, с. 8]. Очевидно, в условиях сосуществования языков такая рефлексия актуализируется, так как для многих говорящих или пишущих регулярно она начинается уже с необходимости выбора языка (эстонский / русский) или более тщательного подбора языковых средств при общении с адресатами в разных коммуникативных условиях. Последнее необходимо тогда, например, когда говорящий по-русски человек не владеет эстонским и обращается к человеку, плохо знающему русский. Если говорящий хочет, чтобы его поняли, разумеется, он будет медленнее говорить, подбирать более «простые» слова, фразы и т. д. Такие ситуации — а они регулярны — становятся причиной повышенной языковой рефлексии, что, как можно предположить, ведет к появлению в речи большего количества рефлексивов. Это предположение подтверждают записи разговорной речи, результаты анализа которой изложены в работе [22], кратко резюмируемой ниже. Материалом для исследования послужили около четырех десятков записей спонтанной устной речи местных русскоговорящих жителей продолжительностью от 20 до 60 минут. Оказалось, что все без исключения записи содержат различные метаязыковые высказывания, выполняющие разные функции. Так как настоящая статья не посвящена метаязыковым высказываниям, отметим лишь, что среди последних было много таких, которые наиболее очевидным образом связаны с местной спецификой, то есть отражают ситуацию сосуществования языков. Содержание последних чаще всего следующее:

1. Затрагивается, комментируется, обсуждается ситуация сосуществования языков, например: *И я короче / пишу пишу там / потом опять начинаю / и он меняется / на какой-нибудь эстонский или английский /... Короче / такой бред выходит / что я пишу русскими буквами / эти / эстонские слова.*

2. Обсуждаются значения эстонских или других иноязычных слов, словосочетаний и соответствующих им русских единиц, например: *Б. Не видела таких / вкусный / вкусный пирог / А. Это не пирог / Б. Пирог / Видишь / написано «коок» / а это пирог / А. Ну мне кажется... это многозначное слово... и там / Б. «Коок» это пирог и все!*

3. Характеризуется чья-либо речь на каком-то из языков, например: *А. Я даже теперь знаешь / когда говорю / я начинаю переводить с эстонского на русский / Это так ужасно / так конструкцию предложения... В. Коряво... А. Да / коряво так получается.*

Многочисленные примеры такого рода свидетельствуют об активизации языковой рефлексии в условиях диаспоры, об осознаваемой людьми актуальности проблемы сосуществования языков.

Далее остановимся на *пространственно-временной локализации*, которая, как известно, является необходимым условием формирования коммуникативных единиц (предложения и текста) и, кроме того, параметром, базовым для человека во многих областях его жизнедеятельности, характеризующим не столько собственно речь, сколько «картину мира» носителей языка. Разумеется, основные средства (лексические, грамматические) обозначения и характеристики места и времени в речи диаспоры не отличаются от имеющих в русском языке в целом. Вместе с тем есть и явные элементы формирования своей «системы координат», говоря о которой, также ограничимся отдельными примерами.

Характеристику пространственно-временной локализации можно предварить широко известной и неоднократно приводившейся лингвистами фразой *Доброго времени суток!*, которая несколько лет назад стала регулярно использоваться в электронной переписке и СМИ, ориентированных на адресатов, находящихся в разных временных поясах и, добавим, в разных странах. Не фиксирующее конкретный момент приветствие свидетельствует о «размытости» этого параметра в виртуальном и реальном времени. В качестве примера, демонстрирующего местную специфику, рассмотрим новостной блок спутникового Первого Балтийского канала (ПБК) с центром в Латвии, вещающего на основе российского Первого канала на страны Балтии и состоящего преимущественно из телепередач российского канала и отдельных местных программ. Более подробный анализ этого материала ранее был представлен в отдельной статье [12].

Структура и содержание данного новостного блока ориентированы как на создание единого коммуникативного пространства, так и на отражение специфики аудиторий Латвии, Литвы и Эстонии. Общую первую часть блока заполняет российская программа «Время», далее после местной рекламной заставки следуют местные же новости, транслируемые на каждую из трех стран параллельно, в Эстонии это «Новости Эстонии». Вещание ведется из студии в Риге, оформление, звуковое сопровождение, логотип, подход к отбору и подаче информации во многом аналогичны российским. В результате формируется виртуальное пространство, которое можно охарактеризовать как «колеблющееся», не имеющее четких границ, с частичным «наложением» его участков. Основные структурные элементы этого пространства: Россия – страны Балтии (с «центром» в Риге) – каждая из стран в отдельности.



Экстралингвистически заданные параметры дополняются языковыми средствами дейктического характера, в частности, указывающими на пространственную локализацию (*здесь, у нас, у соседей, поблизости* и т.п.). Например, регулярно используемое в речи дикторов, находящихся в Риге, сочетание *наша страна* может относиться и к Латвии, и к Эстонии, и к Литве. В «Новостях Эстонии» слова диктора *соседняя Латвия, наши южные соседи* приобретают дополнительные коннотации (при условии, что адресат знает, откуда ведется вещание). Говоря о дикторах, следует отметить еще один экстралингвистический фактор: в условиях маленькой Эстонии работники телевидения (дикторы, ведущие, корреспонденты) всем более-менее известны, и незнакомые люди (дикторы) вносят некоторую долю отстраненности, отчужденности. Подобное восприятие подкрепляется языковыми особенностями: произношение дикторами местных эстонских топонимов (Кейла-Йые, Йыхви, Тоомпеа, Ласнамяэ, Ыйсмяэ) отличается некоторой искусственностью и не совпадает как с эстонским, так и с местным русским. Таково же произношение эстонских личных имен, названий партий, фирм, организаций, например: Ахто Ээсмья, Яак Йьерюйт, Юри Каськ, Пеэп Авиксоо, Рийгикогу, Исамаалит, Таллина Вэе. В результате формируется своеобразное соотношение «своего» и «чужого», влияющее на важнейший компонент прагматики – восприятие. Однако подобная условность все же вполне допустима и, как представляется, ее воздействие не оказывается существенным. Корреспондентами же являются «свои люди», что несколько нейтрализует отмеченную отстраненность. Таким образом, пространственная локализация, формируемая комплексом экстралингвистических и языковых средств, неоднозначна.

Говоря об отборе информации с точки зрения пространственной локализации, отметим, что в «Новостях Эстонии» большая часть материалов относится именно к Эстонии, однако некоторые репортажи освещают события в Латвии или Литве, иногда это происходит регулярно, порой эпизодически. Включение таких сюжетов способствует формированию единого коммуникативного пространства стран Балтии.

В меньшей степени местная специфика отражается во временной локализации, которая за время существования телеканала была несколько «упорядочена». Так, перед программой «Время» на экране появляется циферблат, на котором несколько лет назад выставлялось московское время, не совпадающее со временем в странах Балтии, в результате чего временные ориентиры, как и пространственные, оказывались размытыми. Сейчас на экране часы показывают местное время, однако в выпуске новостей регулярно фигурирует реальное московское время, что может приводить к двусмысленности.

Таким образом, на примере телевидения можно говорить о много-ступенчатости пространственно-временных координат, благодаря чему можно соотносить российское (и мировое в иных случаях), общебалтийское и местное пространство и время.

Специфика местной пространственно-временной локализации имеет и другие проявления, однако в рамках одной статьи невозможно рассмотреть множество примеров, поэтому приведем лишь еще один. Многие памятные даты, праздники, продолжительность определенных периодов жизни (отпуск по уходу за ребенком, обучение в школе, вузе, срок службы в армии, пенсионный возраст и т.п.), естественно, связаны с местными реалиями, часто отличающимися от российских. Ниже приведены примеры предложений, словосочетаний, слов из устной речи, СМИ, рекламы, официально-деловых текстов, имеющих эстонскую пространственно-временную специфику:

Поздравляем со всеми Рождествами и Новыми годами! (из поздравительной открытки); *Да это в эстонское время было; Это по российскому времени прибытие указано; О! Русский Новый год отмечают!* (разговорная речь); *Огни Яановой ночи зовут!* (реклама); *Наш северный / южный / восточный сосед; Отечественные товары пользуются спросом; Усиливающийся юго-восточный ветер принесет более холодную воздушную массу* (из СМИ); *основная школа (9 классов), гимназия (10–12-й классы), триместр, рождественские каникулы, бакалавриат (3 года), магистратура (2 года), докторантура (4 года), пенсионер (после 62–65 лет), срочная служба (8 месяцев)* и т.д.

Каждый пример, разумеется, требует анализа, который сейчас проводится не будет, так как цель статьи – общая характеристика особенностей речи диаспоры. В завершение остановимся еще на одном явлении – на различиях в *речевых / дискурсивных практиках*, регулярных для российской действительности и для Эстонии.

Новые дискурсивные практики, актуальные для современной России [4; 10; 11; 23; 29; 32], часто либо не имеют аналогов в условиях диаспоры, либо представлены фрагментарно. Например, транспорт, скамейки, лестницы и другие объекты окружающей среды как рекламные носители, билборды, используемые для размещения частных сообщений, русским языком в условиях Эстонии «охвачены» в значительной степени. В какой-то мере такой материал есть только в регионах со значительным или преимущественно русским населением. Спецификой диаспоры здесь становятся, скорее, не особенности речевого материала, а сам факт его наличия или отсутствия, а также степень распространенности. Так, если в России в современной коммуникации расширяются пространство игрового общения и спектр со-



путствующих этому приемов, то для языка в условиях диаспоры это менее характерно. Как показывает анализ разного материала [6; 7; 13; 15; 16; 17; 20; 21], общий эстонский фон более нейтрален, менее оценочен и субъективно окрашен, что влияет и на местный русский. Разумеется, игровое начало имеет место, особенно в некоторых сферах, однако не является яркой чертой местной русской речи. В то же время ее особенностью можно считать, например, обыгрывание самой ситуации сосуществования языков. Частный случай последнего – «незапланированная» языковая игра, возможная в ситуации, когда вызывают комический эффект или обыгрываются переводческие «ляпы», возникающие, к сожалению, регулярно и дающие богатую пищу для шуток. Следует подчеркнуть, что местные дискурсивные практики и их соотношение с российскими – актуальная область исследования.

Итак, речь диаспоры имеет как достаточно очевидные, формально выраженные особенности (слова, словосочетания, грамматические показатели), так и, напротив, менее очевидные, «растворенные» во множестве языковых средств (языковая рефлексия, время, место, характер речевых практик, оценка и т.п.). Первые легче не только обнаружить, проанализировать, но и изменить, «исправить», что часто и происходит в речи диаспоры, вторые же затрагивают не только языковые единицы, но и глубинные психологические, ценностные, когнитивные пласты языковой личности. Возможно, анализируя метаязыковую рефлекссию, пространственно-временную локализацию и аналогичные аспекты речи диаспоры, уместно оперировать понятием функционально-семантического поля. Такая специфика речи русской диаспоры Эстонии лишь начинает изучаться, и, думается, именно это направление в настоящее время наиболее перспективно.

Список литературы

1. Адамсон И. Динамические процессы в лексике таллиннских газет на русском языке (на примере двуязычных изданий) // *Humaniora: Lingua Russica*. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2009. XII : Активные процессы в русском языке метрополии и диаспоры.
2. Бурдакова О. Прибалтийско-финские заимствования в русских говорах Причудья : дис. ... *magister artium* по русскому языку. Тарту, 1998.
3. Венрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М., 2005.
4. Высоцкая И. В. «Свое» и «чужое», или Взаимодействие кириллицы и латиницы в современном рекламном тексте // *Лингвистика*. Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2010. №4 (2).
5. Дуличенко А. Д. Русский язык в постсоветской Прибалтике: проект социолингвистического исследования // Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика (новая серия). Тарту, 2002. VI : Проблемы языка диаспоры.

6. *Евстратова С.Б.* Языковые средства выражения оценочности в газетных заголовках (на материале русского и эстонского языков) // Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика (новая серия). 2001. V : Русский язык: система и функционирование.
7. *Ее же.* Экспрессивная лексика в русскоязычной прессе Эстонии // Там же. 2002. VI : Проблемы языка диаспоры.
8. *Ее же.* Использование русского языка в средствах массовой коммуникации Эстонии // Слово.ру: балтийский акцент. 2012. №2.
9. *Зеленин А.* Язык русской эмигрантской прессы (1919–1939). СПб., 2007.
10. *Иссерс О.С.* Новые дискурсивные практики в современной России // *Humaniora: Lingua Russica.* Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2009. XII : Активные процессы в русском языке метрополии и диаспоры.
11. *Ее же.* Речевое воздействие. М., 2009.
12. *Костанди Е.И.* Прагматика новостного дискурса // Взаимодействие языков и языковых единиц: русский язык в культурно-коммуникативном пространстве новой Европы. Рига, 2005. Вып. 1.
13. *Ее же.* Отличительные особенности языка современной русской прессы Эстонии // *Scientific Papers University of Latvia. Slavonic Traditions of the Baltic area.* 2006. 707.
14. *Ее же.* Прагматика перевода атрибутивных словосочетаний // *La lengua y literatura rusa en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas.* Sankt-Peterburg ; Granada, 2007.
15. *Ее же.* Оценочный компонент в устных рассказах староверов Причудья // *Humaniora: Lingua Russica.* Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2007. X : Очерки по истории и культуре староверов Эстонии. II.
16. *Ее же.* Оценочная лексика в устных рассказах староверов Западного Причудья: слово – текст – культура // *Слово и текст в культурном сознании эпохи.* Вологда, 2008. Ч. 2.
17. *Ее же.* Аксиологический компонент разговорной речи // *Humaniora: Lingua Russica.* Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2008. XI : Язык в функционально-прагматическом аспекте.
18. *Ее же.* Роль прагматических факторов в формировании особенностей речи диаспоры // Там же. 2009. XII : Активные процессы в русском языке метрополии и диаспоры.
19. *Ее же.* К вопросу о роли прагматических факторов в формировании специфики языка диаспоры // *Русистика и современность : сб. науч. ст.* Рига, 2011.
20. *Ее же.* Textoобразующая функция оценки (речь жителей острова Пийриссаар) // *Acta Slavica Estonica.* Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2012. XV : Очерки по истории и культуре староверов Эстонии. III.
21. *Ее же.* Реклама в условиях диаспоры: проблемы перевода // *Текст, культура, перевод : сб. ст. по матер. междунар. конф.* 23–25 мая 2012 года. Рига, 2012.



22. Костанди Е.И. Метаязыковые единицы в разговорной речи диаспоры // Scientific Papers University of Latvia. Linguistics. 772. 2012.
23. Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2009.
24. Кюльмоя И.П. Специфические черты языка русской диаспоры Эстонии // Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика (новая серия). Тарту, 2000. III : Язык диаспоры: проблемы и перспективы.
25. Ее же. Речь русской диаспоры Эстонии: тенденции развития // Humaniora: Lingua Russica. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2009. XII : Активные процессы в русском языке метрополии и диаспоры.
26. Моисеенко И. М., Замковая Н. В. Статус русского языка в Эстонии и проблемы, связанные с его преподаванием // Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика (новая серия). Тарту, 2002. VI : Проблемы языка диаспоры.
27. Их же. Затруднения в словообразовании и в словоупотреблении в речи учащихся-билингвов // Humaniora: Lingua Russica. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2009. XII : Активные процессы в русском языке метрополии и диаспоры.
28. Их же. Типичные ошибки в письменной речи учащихся-билингвов, получающих образование на эстонском языке // Язык и культура. Вып. 12. Киев, 2010.
29. Новоженова З.Л. Русский язык в новых дискурсивных пространствах: реклама... божественного // Проблемы речевой коммуникации : межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2008. Вып. 8.
30. Очерки по истории и культуре староверов Эстонии. I. Тарту, 2004.
31. Паликова О. Н. Русский язык в рекламных каталогах Эстонии // Humaniora: Lingua Russica. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2009. XII : Активные процессы в русском языке метрополии и диаспоры.
32. Ремчукова Е. Н. Лингвокреативность рекламного слогана // Там же. 2011. XIV : Развитие и вариативность языка в современном мире. II.
33. Ровнова О. Г., Кюльмоя И. П. Говоры староверов в современной Эстонии // Русские старообрядцы: язык, культура, история. М., 2008.
34. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика (новая серия). Тарту, 2000. III : Язык диаспоры: проблемы и перспективы.
35. Там же. IV : Русские староверы за рубежом.
36. Там же. 2002. VI : Проблемы языка диаспоры.
37. Туровская С. Н. Русский язык в странах рассеяния: в поисках ориентиров // Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика (новая серия). Тарту, 2002. VI : Проблемы языка диаспоры.
38. Щаднева В. П. О месте и лингвистических особенностях русских официально-деловых текстов в языковой ситуации современной Эстонии // Humaniora: Lingua Russica. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2009. XII : Активные процессы в русском языке метрополии и диаспоры.



39. Щаднева В.П. Характеристика современного эстонско-русского перевода утилитарных официально-деловых текстов // Русистика и современность : сб. науч. ст. Рига, 2011.

40. *Acta Slavica Estonica*. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2012. XV : Очерки по истории и культуре староверов Эстонии. III.

41. *Язык диаспоры. Проблемы и перспективы* : матер. III междунар. семинара. Рига 3—5 февраля 2000 г. М., 2000.

42. *Humaniora: Lingua Russica*. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Тарту, 2007. X : Очерки по истории и культуре староверов Эстонии. II.

43. *Там же*. 2009. XII : Активные процессы в русском языке метрополии и диаспоры.

Jelizaveta Kostandi

THE RUSSIAN LANGUAGE IN MODERN ESTONIA: FUNCTIONING, LEARNING, FEATURES

This article summarises the observations of different authors about the modern condition of the Russian language in Estonia, outlines the emerging areas of research on the use of the Russian language and the features of language policy. The features of diaspora speech are described from the perspective of words and phrases, grammar indicators, language reflection, time, place, features of speech practices, and evaluations. The author considers the influence of language situation on the basic psychological, value-related, and cognitive layers of the linguistic personality.

Key words: *Russian language, sociolinguistics, language policy, language of diaspora, language contacts.*

Наталья Польца
(Калининград)

ЧТО ГОВОРЯТ О ГРЕХЕ РУССКИЕ И ЛАТЫШСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Кто из вас без греха?
Ин 8:7



Рассматривается семантический объем понятий «грех / grēks» как ключевых в русской и латышской национальных картинах мира. На материале русских и латышских пословиц и поговорок выявляются базовые, универсальные представления о грехе и специфичные, национальные. Устанавливается, что русская ментальность в отличие от латышской отражает взаимодействие и частичную интерференцию христианской и народной картин мира, а понятие греха оказывается в зоне пересечения этих картин мира, что свидетельствует об их близости, но нетождественности.

Ключевые слова: национальная картина мира, пословицы, поговорки, понятие, христианство.

Понятие *грех* связано с представлениями о религиозно-нравственных законах, о высших ориентирах, которые определяют поведение людей разных национальностей и составляют наиболее важную часть национальной ценностной картины мира.

В христианской культуре *грех* понимается как всякое, свободное и сознательное, несвободное и бессознательное отступление (делом, словом или помышлением) от заповедей Божиих [1, с. 430].

Этимологические данные говорят о том, что в основе понятия *грех* лежат четыре идеи:



1) **идею жжения, горения** (как психофизического состояния). По мнению М. Фасмера, слово *грех* связано с глаголом *греть* или *гореть*, то есть *жжение (совести)*. Есть мнение и о развитии значения *грех* из первоначального *жжет совесть*, что является невозможным для праславянского, то есть дохристианского слова [4, с. 330];

2) **идею кривизны, изогнутости** (как отклонения от должного). Этимологи связывают происхождение праславянского слова **grěchъ* с индоевропейским корнем, означающим *кривой* [4, с. 330]. П. Я. Черных сопоставляет *грех* с литовским *graižyti* (*вертеть, крутить, гнуть*), *graižius* (*скрученный, изогнутый, искривленный*) [9, с. 216];

3) **идею ошибки, заблуждения**. П. Я. Черных возводит слово *грех* к общеславянскому **grěchъ* со значением *заблуждение, путаница, ошибка*, сравнивая его также с древнерусским словом *съгрѣза* (*ошибка*) [9, с. 216]. Павел Флоренский выражал согласие с теми, кто слово *грех* приравнивал к слову *огрех* [4, с. 330];

4) **идею грязи, нечистоты**. П. Я. Черных соотносит слово *грех* с древнерусским *грѣза* (*грязь*) [9, с. 216].

Латышское слово *grēks* было заимствовано из церковнославянского к XIII веку [11, с. 312], восходя, таким образом, к тем же четырем идеям: жжения / горения; кривизны / изогнутости; ошибки / заблуждения; грязи / нечистоты.

Анализируя лексикографические данные, можно говорить лишь о незначительных отличиях семантических объемов русского *грех* и латышского *grēks* [12, с. 320], объединенных общей идеей «отклонения, неправильности».

К XIX веку концептуальная область понятия *грех* значительно расширяется, включая в себя такие понятия, как «вина», «беда», «напасть» [6, с. 231–232], «распутство» [3, с. 994–996], «порок», «обман», «ложь», «недостатки», «слабости» [7, с. 388–394] и др. В XX веке многие словари отмечают в качестве устаревшего традиционное для христианства понимание *греха* как «нарушения религиозных предписаний» [Там же, с. 388–394].

В латышском языке к XVII–XVIII векам слово *grēks* обретает дополнительное значение «*nelaime*» (беда, несчастье). О том, что *grēks* связан с понятием беды, свидетельствуют и слова *udensgrēks* (наводнение), *ugunsgreks* (пожар), которые буквально можно перевести как «*грех воды*» и «*грех огня*» соответственно [11, с. 312]¹.

¹ Последнее – *ugunsgreks* – сохранилось в латышском литературном языке.



Пословицы и поговорки, где слово *грех* номинирует видовое понятие, имеют структуру *А есть грех* или *В не есть грех*, указывая на то, что конкретно является или не является *грехом*.

Русские и латышские пословицы, определяющие как *грех* конкретные действия и явления, можно распределить по тематике на группы «Воровство», «Прегрешение словом», «Богатство / бедность».

Воровство. Если латышская пословица просто утверждает, что *Zagt ir grēks* (*Красть грешно*) [10], то в русских пословицах и поговорках воровство хоть и осуждается, но видится как неизбежность: *Грех воровать, да нельзя миновать*². Провоцировать воровство не менее предосудительно, нежели воровать, поэтому вину вора разделяет и потерпевший: *Плохо не клади – вора в грех не вводи*. Более того, есть обстоятельства, когда воровство не признается ни *грехом*, ни даже самим воровством: *Солдату не грех поживиться; Солдат не украл, а просто взял*. Итак, если латышские пословицы выражают своего рода нравственную максиму, то в русских пословицах можно проследить некую тенденцию к оправданию *греха* (воровать – *грех*, но не всегда; ответственность лежит не только на воре и т. д.) и различению его «разновидностей» по тяжести.

Прегрешение словом. Русские и латышские пословицы и поговорки сходятся в двух представлениях:

1) *грехом* является ложь: *Всякая неправда – грех; Melot ir grēks* (*Врать грешно*);

2) речь считается почвой для невольной ошибки, каждое слово – потенциальным *грехом*: *Меньше говорить – меньше греха; Kas daudz runā, tas daudz grēko* (*Кто много говорит – много грешит*).

Особо стоит отметить пословицы и поговорки латгальского языка³. Так, латгальская пословица в качестве словесного *греха* выделяет еще *хвастовство* своими *грехами*: *Kas ir graks dariat, ab tu kauns ir nu runot* (*Делать – грех, а говорить об этом – стыд*); *Kas ar sovīm grākim lilejas, tās divkuorteigi grākoj* (*Кто своими грехами хвастает, вдвойне грешен*). Пословицей осуждается и *подстрекательство*: *Kas lod, tās grākā kōp* (*Кто подговорил, тот в грех попал*). То, что *грех* словом является более тяжким, чем прегрешение делом, отражает латышская пословица *Darītājam viens grēks, runātājam visi* (*Делаящему один грех, говорящему – все*). Приведенные пословицы связаны не столько с признанием *греховности* речи, сколько с осуждением греховных замыслов и утверждением ответст-

² Рассматриваемые в статье латышские пословицы и поговорки приведены по изданию [10], русские – по изданию [2].

³ Латгальский язык – историческая разновидность латышского языка, верхнелатышский диалект латышского языка.



венности, которая лежит на человеке, провоцирующем впадение другого в грех. В русских пословицах и поговорках подобная идея не встречается.

Богатство / бедность — эта тема широко и противоречиво представлена в русских пословицах. Так, большим *грехом* считается бедность: *Нет греха хуже бедности*. Другая пословица рассматривает бедность не как *грех* сам по себе, но как благотворную для греха почву: *Бедность не грех, но до греха доводит*.

Наравне с бедностью *грехом* называется и богатство: *Денег много — великий грех; денег мало — грешней того*. В этих пословицах прослеживается общая идея о связи богатства с областью *греховного*, возможно, восходящая к мысли о том, что оно (богатство) добыто несправедливым путем и является результатом *греха*.

С одной стороны, предпочтительно жить бедно, но праведно: *Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; Нажитое грехом не устроит дом*. С другой — достаток может оправдать *грехи*: *Грехов много, да и денег вволю*.

Следующая пословица разделяет такие понятия, как *грех* перед Богом и *грех* перед людьми, тем самым разделяя и нормы жизни, установленные, соответственно, Богом и обществом: *Богатство великий грех перед Богом, а бедность — перед людьми*.

Тема связи *греха* с бедностью и богатством, так разнообразно запечатленная в русских пословицах, в латышских совершенно не отражена. Близкой к идее *греховности* богатства может быть идея *греховности* власти (в самом широком ее понимании): *Kam lieli spēki, tam lieli grēki* (*Большие силы — большие грехи*).

Принципиально различаются русские и латышские пословицы, имеющие структуру *В не есть грех*. Так, русские пословицы связывают *грех* с областью *этикетного*, а латышские — с областью *этического*.

Большинство пословиц русского языка данного типа говорят не о *грехах* и пороках, а о тех поступках, качествах и состояниях человека, которые могут вызывать осуждение с бытовой, этикетной точки зрения и не несут этической нагрузки, например: *Спрос не грех, отказ не беда; Кашляй век, греха в том нет; Малый смех — не велик грех; Молодость не грех, да и старость не смех*.

В латышских пословицах и поговорках *grēks*, напротив, всегда относится к области морали: *Citam labu darīt nav grēks* (*Делать добро другому — не грех*). Ряд пословиц обличают *лень* как один из *грехов*, что отражает исконно христианские представления: *Strādāt nav grēks* (*Работать не грех*), *Slinkums nebīstas no grēka* (*Лень греха не боится*); *Kas strādā, tas negrēko* (*Кто работает — не грешит*).



В русской культуре понятие *греха* имеет отношение к *идее искушения*. Человеческая воля согласно пословице может быть подвержена влиянию дьявольской силы, склоняющей человека к совершению *греха*: *Бес около ходит, на грех наводит*. Не только нечистая сила, но и окружающий материальный мир может «наводить на *грех*»: *Казенное на грех наводит; На дороге не клади, вора в грех не вводи*. Подталкивать к греху могут и люди (в этом случае на них отчасти перекалывается ответственность за совершение *греха*): *Навели на грех да и покинули на смех*. В пословице *Грех по дороге бѣг да и к нам забѣг* грех представлен самостоятельной силой, которая творит недостойное помимо воли человека, а то и без его участия. Приведенный материал иллюстрирует отражение в русских пословицах идеи слабости человека перед *грехом*.

Что касается латышской культуры, то тема искушения и причин, склоняющих человека к греху, не нашла отображения в корпусе пословиц и поговорок.

И в русской, и в латышской культуре *грех* связан с *областью удовольствия*. Так, в русской пословице *грех* сладкий, а в латышской — лакомый: *Грехи сладки, а люди падки; Kārums visu grēku sākums* (*Лакомство — начало всех грехов*).

В латышском языке в основе *греха* видится человеческая греховная *страсть*, сравниваемая с *огнем*: *Nekurini grēku uguni, ka tu pats līdzi nesadedzi* (*Не распалай огонь греха, чтобы самому не сгореть*), *No mazas dzirksteles tiek liels uguns, no taza grēka — liels grēks* (*Из искры возгорится пламя, из малого греха — большой*).

Подверженный *греху* человек в русском языке называется *грешником*, *греховодником*, а в латышском — *рабом греха*: *Kas grēku dara, tas ir grēka kalps* (*Кто грешит, тот раб греха*), что подчеркивает власть *греха* над человеческой волей.

Естественным для человека является желание избавиться от последствий *греха*, сделать сам факт его совершения незаметным для других: *Грех под лавку, а сам на лавку; Большой грех — в большой мех, маленькие грехи — в маленькие мехи*. Однако это желание неосуществимо: *Грех не уложить в мех. Грех, то есть сам поступок, оцениваемый как грех, всегда будет очевиден, его невозможно спрятать, укрыть, утаить; он не проходит бесследно, и результат его навсегда остается с человеком: Греха не смоешь; Грех (неправда) выйдет наружу. Любой грех так или иначе станет явным, его последствия и ответственность за него неминуемы: Согрешил — накрошил, и не выхлепать будет*.

Эти и другие пословицы, говорящие о неминуемости расплаты за совершенные поступки, о соизмеримости *греха* и наказания за него,



транслируют *идею Божественной справедливости*: *Каков грех, такова и расправа*. Кроме того, *грех* выступает как некий критерий оценки прожитой или проживаемой человеком жизни: *Все на свете по грехам нашим деется; Что ни творится над нами – все по грехам нашим*.

Латышские пословицы также акцентируют внимание на неизбежности и серьезности расплаты за *грехи*: *Ja grēka mērs pilns, tad nāk sods* (Когда мера греха полна, наступает расплата); *Katram grēkam ir savas sekas* (У каждого греха свои последствия); *Ikvienam grēku cilvēks var nožēlot* (Человек может пожалеть о каждом грехе). Совершенные *грехи* не забываются и не окупаются добрыми делами: *Cilvēka grēkus iekāļ akmenī, bet nopelnus ieraksta smiltīs* (Заслуги пишут на песке, грехи высекают в камне).

В христианской традиции *грех* неизбежно связан с *наказанием*. И русские, и латышские пословицы говорят о возможности как «внутреннего», так и «внешнего» наказания.

В русских пословицах чувство вины признается одной из форм наказания и проявляется как состояние душевного дискомфорта: *Кто виноват, тот и кается; кто согрешил, тот и мается*. Характерным является образ тяжести, метафорически выражающий степень душевного дискомфорта согрешившего: *Тяжело грех носить*.

В латышском языке *грехи* также связываются с последующей тяжестью, болью, саморазрушением: *Bēdz no grēkiem kā no čūskas, jo kad tu iesi klāt, tie tev dzels* (Беги от грехов, как от змеи, ибо как только приблизишься, они тебя будут жалить); *Akmeņi smagi, grēki vēl smagāki* (Тяжелы камни, да грехи тяжелее); *Grēcinieki ir savas pašas dzīvības ienaidnieki* (Грешники уничтожают свою жизнь); *Grēks ir lielākais ļauižu posts* (Грех – наибольший разрушитель людей); *Kam grēku daudz, tam spilvens ciets* (У кого много грехов, у того подушка тверда).

Помимо душевных терзаний *грех* влечет за собой и другие последствия. Например, в русской пословице слово *спина* через цепь метонимических соотношений выражает идею неизбежности, неотвратимости наказания: *Руки согрешили, а спина виновата*.

Согласно латышской пословице *grēks* может проявляться и во внешнем облике человека: *Jaunības grēki dara seju neglītu vecumā* (Грехи молодости уродуют лицо в старости).

Примечательно, что латгальский фольклор зафиксировал идею такого свойства *греха*, как способность передаваться из поколения в поколение: *Tāvu grākus pīmeklēs i pi bērniem* (Твои грехи и детям твоим припомнятся). Эта идея имеет глубокие ветхозаветные корни.

В русском языке идея расплаты за *грехи* связана также со страхом и ожиданием *смерти*: *Смерть по грехам страшна; Не бойся смерти, бойся*



грехов! Важно отметить, что мысль о смерти как о главном моменте расплаты за *грехи* удерживает человека от совершения греха: *Кто чаще смерть поминает, тот меньше согрешает.*

Покаяние свойственно каждому согрешившему: *Ни праведный без порока, ни грешный без покаяния.* Однако покаяние — сложный процесс, в ходе которого грешник должен осознать всю мерзость совершенного, смирить свою гордыню, искренне возжелать отпущения *греха*, поэтому представление о покаянии, выраженное в русских пословицах, сопряжено с представлением о мучении: *Грешить легко — трудно каяться.*

В латышских пословицах и поговорках идея покаяния выражена только в тех пословицах, где речь идет об исповеди и молитве: *Jo vairāk dievojās, jo skaidrāk uzrāda savus grēkus* (Чем больше божится, тем явственнее обнаруживает свои грехи).

Покаяние ведет к очищению от *греха*: *Кто покается, тот от греха избавляется.*

Идея спасения тесно связана с представлением о милости и сострадании: *Закрой чужой грех — Бог два простит.* Милость над грехом — что вода над огнем. Грех другого человека не должен влиять на отношение к нему: *С людьми мирись, с грехами бранись; С грешником мирись, с грехами бранись.*

Однако можно встретить и такую пословицу, согласно которой возможно в буквальном смысле откупиться от *греха*: *За обильное приношение и грехам прощение.*

Смысл пословицы *Невольный грех отпускается* противоречит каноническому христианскому канону, согласно которому *грехом* называется как вольное, так и невольное нарушение религиозных предписаний.

В латышских пословицах и поговорках внимание акцентировано на человеческом прощении, а не Божественном: *Kur grēks nav aizmirsts, tur grēks nav piedots* (Незабытый грех — непрощенный грех).

В корпусе русских пословиц и поговорок *грех* мыслится как **неизбежное испытание** для каждого человека: *От греха не уйдешь, а от беды не упасешься; Огонь без дыму, человек без греха не бывает; Кто Богу не грешен, царю не виноват* и др.

Грех тесно связан с **душой** как морально-нравственным «органом» человека, принимающим на себя *грехи*: *Сваха чужие грехи на душу принимает; Невинная душа непричастна греху.*

В латышских же пословицах *грех* связан с **душой** и **сердцем** человека: *Grēki skumdinā cilvēka sirdi* (Грех печалит человеческое сердце), *Dublī ar traīpa kurpes, grēki — sirdi* (Грязь пачкает башмаки, а грехи — душу). Интересно, что в последнем примере понятие *греха* связано с представлениями о **грязи, нечистоте души**.



Латышские пословицы связывают *grēks* с понятием *стыда* (*kauns*), что совершенно не характерно для русских пословиц и поговорок. Стыд является либо одним из последствий *греха*: *Kas nav grēks, tas arī nav kauns* (В чем нет греха, в том нет и стыда), либо его спутником: *Tas nebīstas ne kauna, ne grēka* (Не бойся ни греха, ни стыда). О стыде как о неизбежном следствии *греха* говорит латгальская пословица: *Grāks nas sovi kauni uz mugoras* (Грех свой стыд на спине несет).

Идея природной греховности человека звучит в пословицах, в которых каждый человеческий шаг определяется как потенциальный *грех* (Что ступили, то согрешили), вся человеческая жизнь представляется чередой *грехов* (Больше жить – больше грешить) и выводится равенство «живой = грешный» (Не грешит, кто гниет).

Латышские пословицы, в той или иной степени оправдывающие *грех*, можно разделить на две группы. К первой относятся пословицы побудительного характера, в которых утверждается, что в земной жизни (в отличие от загробной) грешнику можно уйти от наказания: *Nebīsties grēka pasaulē rīmes ir diezgan* (Не бойся греха, в мире места достаточно); *Ko tu bīsties grēku dēļ: ellē vietas diezgan* (Чего испугался греха, в аду места вдоволь). Вторая группа латышских пословиц эквивалентна русским, утверждающим, что греховность – неотъемлемое свойство человеческой природы: *Bez grēka neviens nav taisns ticis* (Без греха никто не праведник); *Neviena nava bez grēka* (Никто не без греха); *Kas nav grēkojis, tas arī nav dzimis* (У кого нет грехов, тот не родился).

Как показал проведенный анализ, и в русских, и в латышских пословицах нашли отражение христианские представления о неразрывной связи *греха*, искушения, наказания, спасения и божественной справедливости. В то же время очевидны национальные особенности отношения к *греху* и всей связанной с ним проблематике. Так, русская ментальность (в отличие от латышской) показывает тесное взаимодействие, частичную интерференцию христианской и народной картин мира. Понятие *греха* оказывается в зоне пересечения этих картин мира, свидетельствуя одновременно об их близости и нетождественности.

Список литературы

1. Васильев П. П. Грех // Христианство : энциклопедический словарь : в 2 т. М., 1993. Т. 1.
2. Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 2006.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1994. Т. 1.



4. Иванов М. С. Грех // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 12.
5. Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) : в 10 т. М., 1988. Т. 2.
6. Словарь русского языка XVIII века. Л., 1989. Вып. 5.
7. Словарь современного русского литературного языка. М. ; Л., 1954.
8. Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка : в 3 т. М., 1989. Т. 1, ч. 1.
9. Черных П. Я. Грех // Историко-этимологический словарь русского языка : в 2 т. М., 1993. Т. 1.
10. Birkerts P., Birkerte M. Latviešu sakāmvārdi un parunas. Rīga, 1997.
11. Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca: divos sējumos. Rīga, 1992.
12. Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, 2006.

Natalya Polytsya

RUSSIAN AND LATVIAN PROVERBS AND SAYINGS ON SIN

This article examines the semantic scope of the notions of «зрех / grēks» as fundamental ones in Russian and Latvian worldviews. Russian and Latvian proverbs and sayings help identify the basic, universal ideas about sin, as well as particular, national ones. The author comes to a conclusion that the Russian mentality – unlike the Latvian one – reflects the interaction and partial interference between the Christian and folk worldviews, whereas the notion of sin is found in the intersection areas, which is indicative of their similarity rather than identity.

Key words: *national worldview, proverbs, sayings, notion, Christianity.*

ЗНАКИ ИСТОРИИ



Наполеон продолжает занимать значительное место в коллективной памяти французов как во франкоязычных дискуссиях, так и за рубежом. Опросы общественного мнения и социологические исследования выявили значительные изменения в его восприятии за последние 50 лет.

Жерар Сиари, Вера Шервашидзе

Легенда сохраняется в усиливающемся противоречии: от «мирового духа на белом коне», которого увидел в Наполеоне молодой Тегель, до «символа общественной противестественности» в оценке Генриха фон Клейста.

Владимир Тильманов

Жерар Сиари
(Монпелье, Франция)
Вера Шервашидзе
(Москва)

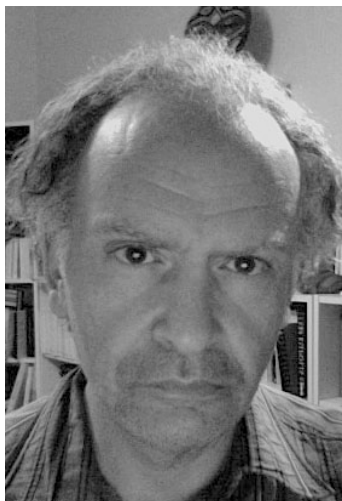
ОБРАЗ НАПОЛЕОНА ВО ФРАНЦИИ

Посвящается памяти моего отца
Эмиля Давида Сиари (1920–2003), кадрового военного,
который обожал Наполеона и ненавидел де Голля.

Суммируется восприятие образа Наполеона во Франции в XIX – XXI веках; устанавливается динамика отношения к Наполеону в зависимости от изменения политической конъюнктуры. На материале исторических исследований и художественных источников демонстрируется, что в настоящее время образ Наполеона более популярен в других странах Европы, чем во Франции, а из жизни императора создан миф о герое, успешном завоевателе, терпящем поражение на пике своего могущества и теряющем свою империю.

Ключевые слова: Наполеон, биографический миф, историография, государственная политика.

В 2012 году отмечалось 200-летие военного похода Наполеона в Россию, к этому событию было приурочено издание книг, посвященных кампании Наполеона: «Наполеон и кампания в России» Ж.-О. Будона [2], «Россия против Наполеона: битва за Европу (1807–1814)» Д. Ливен [7], а также «Любовный дневник Наполеона» Ж. Тюлара [10]. Эти произведения дают возможность заново оценить образ этого великого человека, его роль в сражении при Бородино и во всей российской кампании.





Исследования темы Наполеона получили новый импульс в процессе развития способов своей репрезентации. Некоторые термины и понятия, в настоящее время получившие распространение и вошедшие в международную практику (такие, например, как *invention, mapping, imagining*), облегчают задачу представления реальных событий того времени. Эта область исследований имеет междисциплинарный характер и касается анализа мифов, идеологий и утопий. Необходимо сделать оговорку, что процесс анализа в данном случае выходит за рамки обычного сбора информации и произвольной интерпретации исследуемого объекта. В диссертации Эмиля Керна [6] перечисляются памятные события, связанные с Наполеоном. Это, несомненно, ценно и значимо, однако в случае с императором, как и с другими французскими историческими деятелями, самое главное — понять, как правильно определить восприятие современным французским обществом той или иной знаменитости, вокруг которой уже сложились легенды и мифы. Этот вопрос решается в терминах точного анализа с учетом политического контекста сегодняшней Франции. Даже если используется контекстный анализ, речь идет об интерпретации результатов в исторической терминологии. Специалист способен представить пространственно-временные категории эпохи, в которую жила та или иная великая личность, изучить устные и письменные свидетельства времени. Так, необходимо уточнить, идет ли речь о Наполеоне или о Бонапарте, имеются ли в виду фобии, поклонение или любовь.

О Наполеоне существует множество легенд, сочиненных его поклонниками либо клеветниками. Исследователи опираются не на факты анализируемых источников, а на историю жизни Наполеона, его битв и завоеваний, на мифы о нем. Следует сказать, что во всех существующих репрезентациях не складывается достоверного или ложного образа Наполеона, а есть лишь идеологический или утопический подход к его деятельности. Причины этого заключаются, во-первых, в пренебрежительном отношении Республики, которая отказывалась чествовать память Наполеона, считая его могильщиком Великой Французской революции, а во-вторых, в ностальгии французов по империи Наполеона, по той эпохе, когда Франция могла считать себя центром мира. В связи с этим необходимо с опорой на сравнительный анализ установить, какое место личность Наполеона занимает среди других исторических или политических деятелей во Франции и за рубежом. Исследования должны вестись с позиций политического контекста эпохи, в которую тот или иной исторический деятель неожиданно приобретает популярность (как, например, в 1949 году IV Республика «выбрала» образ Ламартина, чтобы отпраздновать столетие II Респуб-

лики). Интерес к историческому деятелю, привлекающему внимание общественного мнения, должен быть рассмотрен с учетом двух параметров: культуры (в частности, литературы и кинематографа) и особенностей школьного и университетского образования. Такого направления мы придерживаемся в данной статье, цель которой — поставить финальную точку в интерпретации образа Наполеона во Франции в сопоставлении с восприятием его образа в других странах.

Наполеон продолжает занимать значительное место в коллективной памяти французов как во франкоязычных дискуссиях, так и за рубежом. Опросы общественного мнения и социологические исследования выявили существенные изменения в его восприятии за последние 50 лет. Так, в 1980 году культ Шарля де Голля вытесняет образ Наполеона, но тем не менее популярность великих деятелей французской истории (в том числе Наполеона, Жанны д'Арк, Людовика XIV и Клемансо) сохраняется. В 2000 году, по результатам исследований, проведенных журналом «Истуар» («L'Histoire») и институтом CSA, Наполеон находится в списке великих деятелей Франции на второй позиции после де Голля. В 2003 году, согласно опросам общественного мнения, Наполеон воспринимается как значимая фигура исторического наследия ряда европейских стран — Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши. Он продолжает занимать доминирующее место во французском культурном пейзаже: издательский мир насчитывает огромное количество произведений историков, писателей и журналистов, в которых Наполеон выступает как главный персонаж. В базе Opale Национальной библиотеки Франции зарегистрировано более 2 тыс. ссылок на рубрику «Наполеон I, император Франции» и более 200 популярных биографий Наполеона, изданных в промежутке между 1798 и 1914 годами. Все это позволяет говорить о присутствии образа Наполеона в коллективной памяти. Попробуем охарактеризовать основные тенденции эволюции образа императора в соотнесении с мифом о нем.

В недавно опубликованном исследовании насчитывается шесть последовательных этапов эволюции образа Наполеона: «Прежде всего, период с 1880 по 1830 год — от триумфа Наполеона до его потрясающего падения и ссылки. С 1830 по 1851 год, в период Июльской монархии, происходит романтическая сакрализация образа Наполеона, что способствовало захвату власти Луи Наполеоном Бонапартом. Между реставрацией империи и поражением под Седаном посмертная судьба Наполеона обусловлена деятельностью его племянника: от почитания и сакрализации образа переходят к его отрицанию. В период III Республики Виктором Гюго и левыми силами провозглашаются проклятия в адрес деспота и тирана Наполеона. В 1921 году, в столетний



юбилей смерти Наполеона, начинается новый период изучения его личности: на основе научного и исторического подхода, вне всяких идеологий, раскрывается двойственность этой фигуры. На протяжении двух веков Наполеон продолжает очаровывать французов, вновь возвращаясь на авансцену истории» [1, р. 251]. В большинстве случаев каждый последующий «слой» представлений не уничтожает предыдущие, а дополняет их. Даже в самой объективной репрезентации образа Наполеона заложена многозначность прочтений. Относительность интерпретации определяется разными парадигмами восприятия поколений, сменяющих друг друга.

Несомненно, сам Наполеон является одним из первых создателей собственного мифа: даже поражение и бегство во время похода в Египет он превращает в подвиг. С 1814 года роялисты демонизируют образ Наполеона, и в глазах общественного мнения он предстает как тиран, потопивший Европу в крови, как страшное порождение якобинской диктатуры. Начиная с июля 1830 года монархия Луи Филиппа пересматривает легенду об императоре: трехцветное наполеоновское знамя становится эмблемой нации. Церковь также примиряется с фигурой императора, некогда заключившего конкордат с Римом и умершего как истинный христианин. Луи Филипп Бонапарт использует идеализированный миф о Наполеоне, чтобы подчеркнуть преемственность традиций правления прославленного родственника. После поражения Франции под Седаном и позорного бегства Наполеона III, закончившегося падением II Империи, республиканцы вновь реставрируют «черную» легенду, в которой Наполеон сравнивается с римским тираном и деспотом. Однако эта легенда не распространяется на победоносные наполеоновские походы в период революции: образ Наполеона всегда четко дистанцировался от образа Бонапарта. III Республика упрекала Наполеона в том, что он предал дело революции, вернув Францию к абсолютизму.

В конце XIX века и позднее, в период кризиса в Танжере (1905) и Агадире (1911), перед лицом угрозы войны с Германией возникает новый миф о Наполеоне как воплощении националистической идеи. В период Первой мировой войны фигура Наполеона именно в такой интерпретации по рекомендации маршала Ж. Жоффра не сходит с газетных полос, несмотря на то, что коммунисты называют бойню 1914 года повторением Наполеоновских войн. В 1930–1940-е годы каждый перекраивает миф о Наполеоне в соответствии со своими политическими взглядами: левые клеймят его как кровавого тирана, правые прославляют как спасителя Франции и человека действия.

Со Второй мировой войны столкновение позиций возобновляется. Жорж Лефевр, исследователь истории Первой империи, в своей книге



«Наполеон» (1935) рассматривает военную диктатуру императора как историческую необходимость в период войны Англии и Франции. После 1945 года Наполеон становится разменной монетой в идеологических спорах и дискуссиях; одновременно с этим историография делает из него объект научного исследования. Де Голль сравнивается с Наполеоном как в позитивном, так и в негативном смыслах. После отставки де Голля в 1969 году и в 2004–2005 годах Наполеон либо прославляется, либо игнорируется, опять же в зависимости от направления политических взглядов. Основная проблема идеологических споров вокруг фигуры императора состоит в следующем: кем же он был — революционером или узурпатором, стратегом или кровавым тираном? В 2005 году двухсотлетний юбилей победы под Аустерлицем не упоминался даже такими яркими сторонниками Наполеона, как Доминик Вильпен, премьер-министр Франции и автор двух книг, прославляющих императора. Подражание Николя Саркози Наполеону лишний раз доказывает, что сменяющие друг друга президенты Франции скорее готовы к сравнению с ним, нежели с де Голлем.

Несмотря на популярность образа императора, в его репрезентации нет единодушия, и он все еще является жертвой «черного» мифа. Упоминания о Наполеоне на протяжении длительного исторического периода придают актуальность мифу об императоре, принимая форму идеологий или утопических теорий, создаваемых во Франции.

Год столетия со дня рождения Наполеона — 1869-й — не был отмечен его племянником Луи Филиппом, боявшимся обвинений в бонапартизме со стороны либералов. В период между 1870 и 1914 годами политическая ситуация не была благоприятной для прославления Наполеона. Поражение во Франко-прусской войне и падение II Империи вновь привели к реставрации «черной» легенды. Но начиная с конца 80-х годов XIX века, перед лицом угрозы со стороны Германии, Наполеон вновь становится воплощением национальной гордости, подпитывающей реваншистские настроения. Так, в 1921 году, после победы Германии в Первой мировой войне, Республика вновь прославляет императора. Между 1940 и 1958 годами образ Наполеона способствует разжиганию англофобии после бомбардировки англичанами в 1940 году алжирского порта Мерс-эль-Кебир. Наполеон в образе спасителя Франции конкурирует в популярности с Жанной д'Арк. Де Голль, сменивший Петена на президентском посту, подражал Наполеону, возомнив себя новым спасителем Франции. Но этот образ не был однозначным: великому генералу противостоял диктатор, потопивший Францию в крови бесконечных войн. Причем образом Наполеона сложно манипулировать: в наполеоновских доспехах генерала де Голля



изображали многочисленные карикатуры, появившиеся в прессе, как позже и других представителей авторитарных режимов — диктатора Бокассу и Саркози.

В год двухсотлетия со дня рождения Наполеона, Республика примирается с великим императором, хотя упоминания о нем по-прежнему содержат в себе парадоксальные черты — героизма и тирании. В своей речи 15 августа 1969 года президент Франции Жорж Помпиду подчеркнул важную роль Наполеона в создании современной Франции и Европы. Телевидение в тот год ежедневно транслировало посвященные великому императору программы, документальные исторические фильмы из цикла «Камера исследует время», художественные фильмы, в основу которых положены неправдоподобные события из частной жизни Наполеона (например, фильмы «Видок» или «Шульмайстер, шпион императора»), а также дебаты, в которых принимал участие крупный специалист по Наполеону профессор Сорбонны Жан Тюлар. Кинематограф также не остался в стороне: на экраны выходит «Ватерлоо» Сергея Бондарчука (однако более ранние фильмы Абея Ганса не демонстрируются). Писатели и ученые подвели итоги наполеоновского периода и пришли к единому мнению по поводу его интерпретации в университетской программе: фигура Наполеона затмевает Французскую революцию. Однако с течением времени император, как и другие исторические деятели, ушел с авансцены истории, уступив место другим героям.

В 1969 году снижается интерес к Наполеону, останки которого перевозят в Дом инвалидов, и де Голлю, умершему вскоре после своей отставки. После торжеств, посвященных двухсотлетию Великой французской революции, в 1989 году упоминания о Наполеоне вежливо равнодушны. Республика никак не отмечает двухсотлетие победоносных кампаний при Аустерлице и Йене. В период с 1990 по 2000 год эта же республика, которой больше не нужен реванш над Германией, проявляет к Наполеону меньше интереса, чем к Кубку мира по футболу в финальных играх 1998 года. После катастрофы Второй мировой войны фигура победителя Наполеона обесценивается в Европе, которая мечтает о «вечном мире» Канта. Слова Мориса Барреса о Наполеоне как о «воплощении национальной энергии» больше не актуальны. Миф о Наполеоне истощается — он больше не герой, некоторые даже сравнивают его с Гитлером.

Государственный деятель современной Франции не может претендовать на столь пышные чествования. Однако Наполеон, по его собственному выражению, заложил «гранитные основы» политических и экономических институтов Франции или, по крайней мере, стабили-

зировав государство, ввел иерархию, сделал наследие старого режима более динамичным. Благодаря Наполеону возникли следующие государственные институты Франции: в области политического устройства – Государственный совет, префектура, орден Почетного легиона; в сфере финансов и торговли – Счетная палата, кадастры, Закон о торговле; в сфере образования – лицеи и знаменитый бакалавриат. Государство почти не оказывает признательности памяти Наполеона со стороны вышеназванных институтов, не принимает во внимание жизнеспособность его наследия и вклад в создание этнической самобытности французов. Вместе с тем Кодекс о гражданских правах упоминается как одно из самых важных достижений наполеоновского правления. Жак Ширак назвал его «актом рождения современной Франции», ему вторила пресса: «Наивысшие достижения Наполеона являются основой наших частных прав и новым революционным порядком в Европе» (*Le Nouvel Observateur*. 2004. 2 Avr.).

В 1998 году египетский журналист Гамаль Гитани выступил против празднования двухсотлетия похода Наполеона в Египет, поскольку, несмотря на открытие Египта французскими учеными, это событие имело для страны печальные последствия: она стала полем борьбы между Францией и Англией, а с 1798 по 1801 год была оккупирована наполеоновскими войсками. Гитани добавил, что сожалеет о том, что Франция отмечает эту дату не как важное событие в культурной жизни двух стран, а как политический успех в присоединении еще одной колонии. По исчерпанию этого постколониального инцидента благодаря экспозиции Института мировой арабской культуры в 2008 году между Египтом и Францией устанавливается культурный консенсус, в котором подчеркивается значимость для Египта двух событий: рождения в 1769 году Бонапарта, возглавившего поход, и вице-короля Египта, правившего страной с 1805 по 1848 годы, а также торжественного открытия Суэцкого канала Наполеоном III в 1869 году. Вклад этих событий в науку был оценен в знаменитой книге «Описание Египта» (1809–1829), в которой Бонапарт предстает как человек Просвещения, стремящийся к открытию Древнего Египта и проявляющий интерес к Египту современному, а также, в отличие от средневековых крестоносцев, с уважением относящийся к исламу.

Кроме того, Республика «упоминает» государственный переворот 18 брюмера и захват власти будущим Наполеоном. В отношении этого события разворачиваются дебаты, разделяющие историков: одни обвиняют Наполеона в диктатуре, другие (например, Жан Тюлар) [10] считают, что Революции надо было положить конец.



В 2004 году годовщину коронации Наполеона правительство Республики не отмечало. Опрос общественного мнения, проведенный тогда, показал, что 49 % французов считают Наполеона великим политиком, обогнавшим свое время, тогда как 39 % видят в нем диктатора, который использовал все средства во имя достижения собственных целей. Коронование Наполеона 2 декабря совпало с датой государственного переворота, осуществленного Наполеоном III в 1851 году. Министр культуры Жан-Жак Айагон в предисловии к брошюре «Национальные праздники 2004 года», изданной Министерством культуры и коммуникаций в 2003 году, подчеркнул, что Республика «не приветствует автократические черты наполеоновского режима», но высоко ценит автора Кодекса о гражданских правах. Речь в этом случае идет не столько о прославлении авторитарного режима, сколько о важном периоде в истории Франции. Медийные средства устраивают ажиотаж вокруг события, которое историки сочли лишь «бесполезной церемонией». Доминик Вильпен по собственной инициативе выступил руководителем коллоквиума, посвященного европейской политике Наполеона.

С одной стороны, во Франции с размахом был отпразднован юбилей коронации Наполеона, с другой — победоносные кампании 1804–1806 годов остались вне поля зрения. Двухсотлетие победы под Аустерлицем было проигнорировано. В то же время Чешская Республика отпраздновала это событие, отдавая дань фактам исторического прошлого. На этих торжествах не присутствовал ни один государственный деятель Франции, даже поклонник Наполеона премьер-министр Франции Доминик Вильпен. Столь явное охлаждение внимания к памяти великого человека, по выражению французского журналиста Алена Дюамеля в статье «Катастрофа Аустерлица», отражает кризис национальной идентичности: «Англия умеет восторгаться историей и одновременно критиковать современность. Франция оплакивает себя и забывает о самоуважении. Жак Ширак и Доминик Вильпен являются воплощением этой истинно французской черты потери самоуважения» (*Libération*. 2005. 7 Dec.). Складывается впечатление, что Франция пытается избежать любого напоминания о прошлом, которое могло бы ее скомпрометировать, тем более что с позиций современного политического контекста с его политкорректностью и уважением к национальным меньшинствам Наполеон, установивший в колониях рабство, выглядит персоной нон грата.

Здесь уместно задаться вопросом, любит ли Франция свою историю. Объяснение проблемы, возможно, содержится в том, что Жак Ширак никогда не испытывал к Наполеону симпатии, поэтому современный национальный контекст не благоприятствует увековечива-



нию его памяти. Превосходство постколониализма, охватившего треть мира, запретило Франции прославлять свою историю, ее как позитивные, так и негативные страницы, свойственные истории любой страны. Современный мир все меньше и меньше опирается на историческую память, отдавая предпочтение экономическим реалиям.

В период празднования двухсотлетия военного похода французской армии в Россию интерес к Наполеону вновь возрождается — как во французской, так и в международной историографии. Историк Жан Тюлар взрастил уже поколение специалистов по эпохе Наполеона. Однако самыми большими почитателями его образа остаются писатели. Фигура Наполеона привлекает и внимание журналистов, посвящающих ему эссе и романы (например, Жан-Поль Кауфманн, автор книги «Черная команда Лонгвуда» (1997), или Ален Дюамель, который в романе «Консульский марш» (2004) проводит сравнение между Наполеоном и Саркози). В комиксах также отображаются наиболее яркие факты карьеры Наполеона — завоевателя, героя французской истории, великого победоносного генерала. Император становится героем «альтернативных» исторических версий и фантастических произведений (например, романы Валери Жискар д' Эстена «Возвращение великой армии» (2010) или Морис де Бевер и Рене Госинни «Император Смит» (1976)). Его образ возникает повсюду: на экране, в театре, в песнях, рекламе. Живое увлечение реконструкцией эпохи Наполеона в год двухсотлетия похода в Россию охватило все французское общество.

В двухсотлетний юбилей наполеоновской кампании в Россию все чаще задаются вопросы: «Битва при Бородино — это русская победа? Взятие Москвы — победа французов? Кто стал победителем в сражении 7 октября 1812 года?» Небезынтересно сопоставить взгляды историков и писателей на эту проблему.

Лев Толстой в своем романе «Война и мир» отвечает на этот вопрос однозначно: победителями были русские. Жан Тюлар, один из крупнейших французских историков, специалист по Наполеону, с этой точкой зрения не согласен. Чтобы сражаться с Наполеоном, генерал Кутузов сооружает редут. Солдаты Наполеона его завоевывают, затем теряют, потом вновь захватывают. Французы несут тяжелые потери, а в это время противник покидает поле боя и оставляет дорогу на Москву открытой для Наполеона. Однако император покидает Москву слишком поздно, он не воспользовался своей победой, считает Тюлар. Англоязычные историки Ливен и Замойский приходят к выводу, что в сражении никто не победил: каждый из командующих провозглашал собственную победу. Но они согласны с оценкой Будоном [2] этого сражения как бойни, предшествовавшей современным сражениям и



войнам. Все сходится во мнении, что причиной бесчисленных и неоправданных потерь были не только сильные морозы, но и отстававший от армии интендантский обоз.

Французский писатель Макс Галло [5], явно знакомый с историографией, излагает историю о Наполеоне в собственной интерпретации: император все предвидел, он чувствовал закат своей звезды; он всегда хотел жить в мире, но был вынужден воевать. Описание похода в Россию основано на ироническом обыгрывании ситуации. Наполеон, одержимый идеей собственного предназначения и поисками знаков судьбы, бежит за своим противником Кутузовым, который уклоняется от прямого столкновения, и с этого времени французская армия становится жертвой не столько казачьих полков, сколько настроений Наполеона. Режиссер Ив Симоно, создавший сценарий по книге Галло, считает, что битва при Бородино была выиграна. Акцентируя внимание на эпизоде пожара Москвы, он переходит к изображению наполеоновских войск в русском походе и несколько затягивает воспроизведение эпизодов сражения при Эйлау (1807), с которого начался закат империи. Писатель Патрик Рамбо [9] повествует исключительно о битве при Эйлау, которая стала поворотным событием Наполеоновских войн. Современные исследователи констатируют, что Наполеон слишком много воевал; историки и художники подчеркивают бесчисленность человеческих жертв в походах великой армии.

Еще один штрих к портрету Наполеона. В недавно вышедшей книге по истории Франции [3] Катрин Дюфур посвятила Наполеону и его эпохе всего лишь две страницы. И это для подобных «историофобов» даже много, так как в последние годы в учебниках по истории Наполеону отводится все меньше и меньше места. Так, в «Истории Франции» Эрнеста Лависса при общем объеме книги в 440 страниц описание битвы при Аустерлице занимает полстраницы, включая цитирование знаменитой фразы: «Солдаты, я вами доволен...»; в книге о Наполеоне Жоржа Лефевра Аустерлицкому сражению также уделено полстраницы из общего объема в 585 страниц, а в «Истории Франции» (ответственный редактор Жорж Дюби) — всего 10 строк.

Катрин Дюфур обращает внимание на быструю карьеру Наполеона. Французской революции не удалось создать стабильного правительства, и государство попадает в руки военной хунты под командованием генерала Бонапарта. Наполеон завоевывает всю Европу, но теряет свою империю за три года. В книге создается контрастный образ императора: «Не пытайтесь понять, героем или монстром был этот человек. Несмотря на 170 тысяч книг, посвященных Наполеону, никто не может прийти к единому мнению. Он — гениальный стратег, но за свои опустошительные войны получил прозвище "корсиканское чудовище". Его расизм столь же неистов, сколь его сексуальность. Он не ан-



тисемит и строит социальную иерархию, исходя из индивидуальных заслуг. Он плохо обращается с рабочими, но способствует развитию образования, экономики, инфраструктуры, искусства и науки. Он устанавливает новый дворцовый этикет, такой же снобистский, как и при старом режиме, но он открыто заявляет Талейрану, что тот "куча дерьма в шелковых чулках". Скажем так: он внушает огромное восхищение, окрашенное сожалением» [3, p. 281].

Наши наблюдения мы вынуждены закончить констатацией парадокса: сейчас Наполеон более популярен за рубежом, в других странах Европы, нежели во Франции. Вне всякого сомнения, из его жизни создан миф: герой, молодой завоеватель, который сумел захватить всю Европу, и даже Россию; но в момент пика своего могущества он терпит поражение в осуществлении континентальной блокады, не может обуздать народные бунты, проигрывает поход в Россию, а затем стремительно теряет свою империю.

Как и во всяком мифе, индивидуальном или коллективном, каждый извлекает из него то, что ему более близко и интересно, запоминает те мифологемы, которые придают смысл его жизни и делам. Общество сохраняет в мифе то, что способствует кристаллизации его стремлений и соответствует его нуждам. Привлекает юный Бонапарт, одерживающий победу в итальянском походе при Арколе, но отталкивает Наполеон — захватчик Европы, ведущий «войну ради войны». Диктатура внушает отвращение. Ужас франко-европейского мира перед очередной военной бойней, нежелание слышать о войнах на собственной территории отодвигают образ Наполеона на задний план. Для создания мифа более привлекателен образ императора — законодателя и создателя современной Франции, который «никоим образом не задушил революцию, а наоборот, спас ее завоевания: равенство, «распродажу» национальных богатств, уничтожение феодализма» [10, p. 583]; правда, при этом он допустил ошибочные действия в борьбе с континентальной блокадой. В то время когда из школьной программы вычеркивается период консулата и империи, образ Наполеона возрождается в оценке наследия императора, наполеоновских ассоциациях, пропаганде жизнелюбия. В отличие от политиков Доминика Вильпена или Николя Саркози, сравнивающих свои политические промахи с поражениями Наполеона (причем ни один из них не позиционирует себя как последователя великого императора), французов привлекает легенда о Наполеоне: это был человек, ниспосланный провидением, таких во Франции больше нет; благодаря ему страна одержала победу в войнах; он не только успешно управлял Францией, но и способствовал национальному единству государства. Во Франции миф о Наполеоне приобретает прометеевские черты (головокружительная победа и оглушительное поражение), тогда как в других европейских стра-



нах, даже если клеймится тирания Наполеона, он воспринимается как проводник национальной идентичности, как личность, разбудившая национальные чувства. Великие нации, могущество которых сегодня приходит в упадок, тайком восхищаются славным прошлым, а не пытаются прогнозировать будущее. Если интерес к Наполеону является лишь отблеском европоцентризма, пренебрегающего остальным миром, то он, несомненно, определяет черты современного европейского мифа о Бонапарте как о завоевателе, стремившемся создать новую Европу. Таково представление о Наполеоне в странах Запада, в странах же Азии, особенно в Японии, создан свой особый миф. По выражению Ж. Тюлара, «Наполеон выиграл сражение в увековечивании своего образа» [10, p. 585].

Список литературы

1. *Amalvi Ch.* Les héros des Français. Controverses autour de la mémoire nationale. P., 2011.
2. *Boudon J.-O.* Napoléon et la campagne de Russie. P., 2012.
3. *Dufour C.* L'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas. P., 2012.
4. *Ferro M.* Histoire de France. P., 2011.
5. *Gallo M.* Napoléon. P., 1997. T. 4.
6. *Kern É.* Représentations et images contrastées de Napoléon dans les commémorations: de 1869 à 2009. Montpellier, 2011.
7. *Lieven D.* La Russie contre Napoléon: La bataille pour l'Europe (1807 – 1814). P., 2012.
8. *Petiteau N.* Napoléone, de la mythologie à l'histoire. P., 1999.
9. *Rambo P.* La bataille. P., 1997.
10. *Tulard J.* Dictionnaire amoureux de Napoléon. P., 2012.
11. *Zamoyski A.* Moscow 1812: Napoléon's Fatal march. L., 2005.

Gerard Siary, Vera Shervashidze

THE IMAGE OF NAPOLEON IN FRANCE

This article summarises the perception of Napoleon's image in France in the 19th – 21st centuries and describes the dynamics of attitudes towards Napoleon in connection with the changing political situation. Historical studies and belles-lettres help demonstrate that today the image of Napoleon is more popular in other European countries than in France and that the life of the emperor gave rise to a myth about a hero and great conqueror who faces defeat at the peak of his power and loses its empire.

Key words: *Napoleon, biographical myth, historiography, public policy.*

Владимир Гильманов
(Калининград)

ФЕНОМЕН НАПОЛЕОНА В ГЕРМАНСКОМ ДУХЕ ЭПОХИ НАПОЛЕОНА

Рассматриваются суждения о Наполеоне в культуре немецкого предромантизма и романтизма как знаки художественной диагностики, свидетельствующие о противоречивой диалектике художественного сознания в различении «кодов» жизни и смерти в искусстве. Диаметрально противоположная оценка Наполеона в истории немецкого романтизма характеризует проблему человека как «поля судьбы», где разыгрывается битва Света и Тьмы. Показана трансформация легенды о Наполеоне в немецком романтизме от идеализации «мирового духа» (Г.В.Ф. Гегель) до определения его как «символа общественной противоположности» (Г. фон Клейст).

Ключевые слова: романтизм, историческая личность, Наполеон, Гегель, Гёте.



Суждения о Наполеоне, представленные в данной работе, интересны в первую очередь для читателей, которые исходят из того, что (за исключением их отображения в научной историографии, философии, богословии, естественной науке и т.д.) художественный тип общественного сознания обладает неведомым до сих пор потенциалом познавательной и педагогической значимости в отношении знаковых событий и личностей мировой истории. Художественная культура, нередко выступая как альтернативная по отношению к другим формам культуры, открывает в феноменах истории мира некую специфику, связанную с тайной означивания этих феноменов в особой инаковости художественных образов, о которой давно думают ученые. Инаковость такого рода Виктор Шкловский назвал «остранением», усматривая в ней особую ценность для знаков искусства. В связи с этим все суждения о Наполеоне следует рассматривать прежде всего как знаки, обусловленные особенным характером



художественной диагностики со стороны видных представителей германского духа, однако не в его историко-научной или политологической, а прежде всего в духовно-эстетической форме. Эти суждения отчетливо подразделяются на *pro* (*за*) и *contra* (*против*), что свидетельствует о сложной, противоречивой диалектике художественного сознания, связанной с усложняющейся проблемой различения «кодов» жизни и смерти в искусстве. Эта сложность отражена в диаметрально противоположной оценке Наполеона в истории немецкого романтизма. Именно романтики с их мистическими интуициями в отношении энергий, с одной стороны, «черных бездн», а с другой — горних высот программным образом обозначают проблему человеческой индивидуальности. Человек распознается романтиками как «поле судьбы», на котором разыгрывается «война миров» — битва Света и Тьмы. В особенной степени это касается великих людей, возводимых романтизмом в художественную знаменательность легенды.

Такой легендой был для немецких романтиков и Наполеон. Для многих из них, влюбленных в идеал романтической свободы, поэтому восторженно воспринявших Великую французскую революцию, император стал ее персонификацией. Затем наступает стремительное «остывание иллюзий», вызванное откровенно захватническим характером Наполеоновских войн. Однако легенда сохраняется в усиливающемся противоречии: от «мирового духа на белом коне», которого увидел в Наполеоне молодой Гегель, до «символа общественной протivoестественности» в оценке Генриха фон Клейста.

В романтическом отношении к Наполеону, как правило, подчеркивается сопряженность великой личности с тем, что часто незримо, непредставимо, немыслимо, но первостепенно значимо в исторической задаче, которую исполняет эта личность. Она — грандиозный инструмент неведомой силы, которая одним представляется как сила созидания и развития, другим — как сила разрушения и гибели, иначе говоря, как *pro* — *за жизнь* и *contra* — *против жизни*. Однако самое трудное — различить *pro et contra*, поскольку нередко то, что представляется *за*, на самом деле оказывается *против*...

Pro

Наиболее отчетливо основание и логику положительных оценок Наполеона отразил Г. В. Ф. Гегель, для которого исторический процесс есть не то, что осознанно и ответственно определяется человечеством, а то, что обусловлено движением Мирового духа, абсолютного по своей непостижимой природе. История есть, по Гегелю, производное от абсолютного духа, этого великого анонимного дирижера, управляю-



щего «репетициями оркестра», то есть разными историческими эпохами человечества. Нередко этот Мировой дух превращает историю в «суд над миром», выбирая в качестве исторических судей тех, кто им наиболее глубоко проникся. К ним философ относит и Наполеона, который в реальной истории чуть не погубил молодого Гегеля, когда в 1806 году тот в страшной спешке бежал из горящей Йены, куда вступала французская армия. Вера в справедливость дела Мирового духа, однако, не остудила восхищение Гегеля Наполеоном, воплощавшим в его глазах этот дух и ставшим его Мировой душой. Он писал о Наполеоне: «Это поистине чудесное ощущение — видеть такого индивидуума, который, сидя на коне, обрушивается на мир и овладевает им...» А затем, будто не в силах сдержать себя, Гегель восклицает: «Я видел ее, видел, как она пришпоривает коня, видел Мировую душу!» (цит. по: [3, S. 187]).

Ошибка Гегеля состоит в переносе проблемы исторической ответственности, как коллективной, так и индивидуальной, из сферы личного в сферу безличного, из динамики нравственно-сознательного усилия по очеловечиванию мира в анонимную *игру* над- или подсознательных сил, управляющих этим миром. Философия игры во всей ее сегодняшней значимости начинается именно с эпохи романтизма, которая одновременно была и эпохой Наполеона. Одни романтики и их неромантические современники доверились тайне игры в убеждении, что историей «играют боги»; другие — увидели в игре опасность превращения истории в безличный процесс манипулирования человечества деструктивными силами, которые могут побудить людей «заиграться до смерти». Среди тех, кто, не будучи романтиком, оказался, однако, близок к их доверию в отношении того, что «тянет» человечество к «заповеданности истины всей», был И. В. Гёте. Именно поэтому он, подобно Гегелю, высоко оценил Наполеона, приписывая ему то, что можно назвать особой ролью в игре провидения...

В 1806 году наполеоновские войска заняли Веймар. Мародеры из числа французских солдат ворвались в дом, где проживал Гёте с Христианой Вульпиус. Хрупкая Христиана проявила изрядное мужество, отвратившее мародеров от их намерения разграбить дом. Именно этот эпизод в немалой степени повлиял на решение Гёте официально сделать Христиану своей женой: до этого он жил с ней в гражданском браке. Однако ни события в Веймаре, ни кровопролитные завоевания и оккупационная политика французов, нередко связанная с грабежом и угнетением, не смогли изменить высокое мнение поэта о Наполеоне, поклонником которого он оставался вплоть до самой смерти. Гёте встретился с императором лично 2 октября 1808 года в Эрфурте. В разговоре Наполеон упомянул, что в своем походном саквояже он всегда возит с собой его роман «Страдания молодого Вертера».



В отношении Гёте к Наполеону отражено нечто имеющее связь с таинственной доминантой нового германского духа, которая художественным образом выражена в архетипе Фауста, созданном поэтом в одноименной трагедии. Эта архетипика передает готовность «нового человечества», то есть нового принципа реальности, отказавшегося от Христа, сотрудничать с «новой силой», которую это человечество связывает прежде всего с имманентными законами природы. Вот почему Гёте в разговоре со своим секретарем И.П. Эккерманом 16 февраля 1826 года характеризует Наполеона как «квинтэссенцию человечества». Эккерман пишет в своих записках:

Мы заговорили о Наполеоне, и я высказал сожаление, что его не видел.

— Что и говорить, — сказал Гёте, — на него стоило взглянуть. *Квинтэссенция человечества!*¹

— И это сказывалось в его наружности? — спросил я.

— Он был квинтэссенцией, — отвечал Гёте, — и по нему было видно, что это так, — вот и все [2, с. 169].

В разговоре с Эккерманом 6 апреля 1829 года Гёте развивает идею, которая, по сути, является оправданием достижения цели любыми средствами, приписывая Наполеону как «квинтэссенции человечества» своеобразную интуицию той цели провидения, во имя которой он «разнес на куски полмира»:

— Меня удивляет, — заметил я, — что люди в погоне хоть за каким-то именем не брезгают даже недозволенными средствами.

— Дорогой мой, — отвечал Гёте, — имя — это не безделица. Наполеон разнес на куски полмира, чтобы прославить свое имя! <...>

— Видимо, была в этом человеке необоримая колдовская сила, если люди беспрекословно шли за ним, хранили ему верность и подчинялись его водительству, — заметил я.

— Так или иначе, — сказал Гёте, — он был необыкновенным человеком. Но главное, что люди были убеждены: под его властью они достигнут своих целей. Поэтому они и шли за ним, как пошли бы за всяким, кто сумел бы внушить им такую уверенность... Наполеон превосходно знал людей и умел обернуть в свою пользу их слабости [2, с. 299].

Именно пребывание Наполеона в гравитации великой цели, действующей своей силой из будущего в настоящее, оставаясь при этом непостижимой для большинства современников, позволяет, по мнению Гёте, приписать ему «свойство гения»:

¹ Здесь и далее выделения в цитатах автора статьи. — В. Г.



– Дитя мое, – сказал Гёте, – таково свойство гения, Наполеон обходился с миром, как Гуммель² со своим роялем. И то и другое для нас одинаково непостижимо, однако это так, и чудо совершается на наших глазах [2, с. 303].

Позже Гёте уточняет, как он понимает гениальность Наполеона, связывая ее с нахождением «великого человека» в поле «демонической» игры. В заметках Эккермана от 6 декабря 1829 года читаем:

Засим мы еще долго беседовали о «Фаусте», о его композиции и тому подобном. Гёте долгое время молчал, погруженный в размышления, и наконец сказал следующее:

– Когда человек стар, он думает о земных делах иначе, чем думал в молодые годы. Так я не могу отделаться от мысли, *что демоны, желая подразнить и подурочить человечество, время от времени позволяют возникнуть отдельным личностям, столь обольстительным и столь великим, что каждый хочет им уподобиться, однако возвыситься до них не в состоянии...* Ведь и Наполеон недосягаем. То, что русские обуздали себя и не вошли в Константинополь, свидетельствует *о величии духа*, но оно было свойственно и Наполеону, он тоже смирил себя и не вошел в Рим [2, с. 326].

Гёте с его великой интуицией универсального гения, несмотря на свойственную ему классицистическую дисциплину, доходит в своем размышлении о Наполеоне до мистической границы прозрения в возможность грандиозных в своей исторической значимости манипуляций человечества со стороны тех «темных иерархий», которые именуются им «демонами». Именно эти «демонические силы», согласно парадоксальному предположению Гёте, «позволяют возникнуть» таким личностям, как Наполеон, с тем чтобы они могли «подурочить человечество». Поражает то, что Гёте приписывает этим «демоническим личностям» величие духа! Это величие есть не что иное, как «величие зла», хотя Гёте напрямую и не говорит об этом. Но идея его «Фауста» оказывается адекватной странному доверию веймарского старца к особой миссии этого исторического демонизма, которую он словами Мефистофеля характеризует как «часть силы той, что без числа / Творит добро, всему желая зла» [1, с. 50]. Размышляя об униженном положении Наполеона в заточении после его поражения, 10 февраля 1830 года Гёте говорит:

Даже за душу берет, когда подумаешь: царь царей унижен до того, что ему приходится носить перелицованный мундир. Но если вспомнить, что этот человек растоптал счастье и жизнь миллионов людей, то видишь, что

² Известный в то время в Германии пианист. – В. Г.



судьба отнеслась к нему еще достаточно милостиво, и Немезида, приняв во внимание величие героя, решила обойтись с ним не без известной галантности. Наполеон явил нам пример, сколь опасно подняться в сферу абсолютного и все принести в жертву осуществлению своей идеи [2, с. 341].

Это суждение Гёте подчеркивает, с одной стороны, величие зла в Наполеоне, который «растоптал счастье и жизнь миллионов людей», а с другой — всю историческую эффективность идей, связанных с тайной демонических глубин зла, претендующего на абсолютность, то есть полную независимость от того, что всегда связывалось с «кодами добра»: совести, милосердия, сострадания, человечности. Эти демонические иерархии давно отражены в истории художественной и религиозной культуры. Гёте хорошо знал о них, о чем свидетельствуют его как художественные, так и биографические произведения. Вот почему, несмотря на свое осторожное отношение к романтизму с его художественной интуицией реальности вторжения демонического зла в судьбу человечества, Гёте усматривает в феномене Наполеона то, что превосходит границы просто человеческого в мерности интуитивного различения добра и зла. Наполеон находится вне этой мерности, и в восхищении им Гёте, проявляя фаустовский дух, восхищается величием абсолютного демонизма, в котором усматривает необходимую логику индивидуального и исторического развития, основанную на дуализме природного мироустройства. Высокая оценка Наполеона объясняется именно этой верой Гёте в мудрость природной необходимости, которой служат личности, подобные Наполеону. Об этом дуализме говорит и Мефистофель в «Фаусте»:

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я — части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот — порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой [1, с. 51].

Думается, что великий Гёте совершил великую ошибку, но, несмотря на это, его высокая оценка демонического величия Наполеона, безусловно, подчеркивает «величие духа русских», сокрушивших непобедимого «царя царей» (одна из характеристик Гёте в разговоре с Эккерманом 10 февраля 1830 года).



Гёте не раз подчеркивает в Наполеоне именно «демоническое начало» — например, 2 марта 1831 года он говорит:

— Демоническое — это то, чего не может постигнуть ни рассудок, ни разум. <...>

— В Наполеоне, — сказал я, — надо думать, было заложено *демоническое начало*.

— Несомненно, — подтвердил Гёте, — и в большей мере, чем в ком-либо другом [2, с. 402].

Чуть позже Гёте доводит свое размышление о демоническом в Наполеоне до его связи с идеей рока, ссылаясь при этом на слова самого императора. Спустя пару дней после разговора 2 марта 1832 года Эккерман помечает в своих записках: «Мы говорили об идее трагического рока у древних», а потом приводит следующие слова Гёте: «Мы, люди новейшего времени, скорее склонны повторять вслед за Наполеоном: *политика* и есть рок» [2, с. 432].

В гётевском отношении к Наполеону отражен факт его тайной «любви к року», что находит многочисленные параллели в его художественных творениях. Поэта волнует эта тайна, поскольку он связывает любовь с энергиями глубоко скрытых в человеке источников, которые он пытается постигнуть в своей теории «демонизма». Сам Гёте не дал точного определения того, что он понимает под «демоническим началом». Но из его творчества видно, что поэт толкует его как некий «изначальный феномен», то есть как проявление некоего скрытого закона природы. Под влиянием этого закона и формируются, согласно Гёте, отдельные сильные личности, способные воздействовать на исторический процесс благодаря их синергийной исключительности, объединяющей сильные личные энергии с энергетизмом природы. Вот почему для Гёте Наполеон был «демонической» натурой, отражавшей в реальной исторической действительности то, что Гёте связывал с тайной архетипа Фауста, представленной в его трагедии.

Легенда Наполеона завоевала в Германии многие другие сердца, особенно после его заточения на острове Святой Елены и гибели (Гейне, Шуман, Вагнер и др.), но все же именно Гёте, продемонстрировавший примечательное постоянство в отношении к феномену Наполеона, должен возглавить список *pro*. Однако весь опыт как «мировой фаустологии», так и последующих Наполеонов показал, что великий поэт совершил ошибку, несмотря на гениальные прозрения в тайну «демонических» манипуляторов, которых легко спутать с «мировыми законами» или иными объективными необходимостями. В своем *pro* — «за Наполеона» — Гёте оказался *contra* «структурализма жизни», основанного на тайне истины свободы. Сегодня как никогда важно на фо-



не в том числе попытки германского духа постичь тайну Наполеона начинать различать между *pro et contra*, между «структурализмом жизни» и «структурализмом смерти»...

Contra

Среди известных представителей германского духа, кто в ту эпоху стал *contra* — «против Наполеона», большинство пережили примечательную умоперемену в отношении как французского императора, так и Французской революции. В основном это были представители или поэтической, или политической романтики, которые нередко пересекались друг с другом: братья Август и Фридрих Шлегели, Фридрих Шлейермахер, Ахим фон Арним, Йозеф фон Эйхендорф, Теодор фон Кёрнер, Людвиг Тик и многие другие. Все они начинали как искренние и восторженные сторонники как революции, так и молодого Наполеона. И Шлегели, и Шлейермахер, и Тик видели в Наполеоне «воплощение святого духа революции», «осиянного природной силой гения». Жан Поль, Тик, Шлегели повсюду таскали с собой бюсты императора; Бетховен собирался посвятить ему свою Третью симфонию... Однако после начала завоевательных войн против Австрии и Пруссии, особенно после поражения от французов при Йене и Ауэрштедте в 1806 году, начинается стремительная, если не лихорадочная перемена, которая стала поводом для многих потомков-исследователей обвинить романтиков в ренегатстве. В самом деле, во всем происходящем с ними есть какая-то на первый взгляд нездоровая нервозность, что проявляется в экспансивности и экспрессивности новых оценок Наполеона. Однако в этой лихорадке оценочной перемены распознается нечто имеющее отношение к стремительному прозрению в истинную суть того, что до этого почти обожествлялось. Романтическое чувство, потрясенное реальностью крови и холодного депотизма, резко меняется и «ужасается» жестокому противоречию между идеализированным и реальным, обостряя контрастную драму романтического двоемирия.

Реальный Наполеон усиливает общий кризис романтического мироотношения, обрушивает романтические надежды, углубляя этот кризис в некоторых судьбах до невозможности жить, как, например, в судьбе Клейста, покончившего собой в 1811 году. Если Гегель увидел в Наполеоне воплощение Мирового духа в его исторической необходимости, то большинство знаменитых современников философа стали считать Наполеона если и воплощением духа мира, то только в его злой, демонической сути. Они выражали убеждение в том, что в Наполеоне и через него действует «дух преисподней» — в исторический процесс прорывается «падшая природа». Известный поэт и публицист



Эрнст Мориц Арндт, сыгравший заметную роль в национально-освободительном движении Германии против Наполеона, писал о нем: «По всему, природа, коя создала его и коя побуждает его действовать так жестоко, преследует какую-то чудовищную цель» (цит. по: [3, S. 188]). Романтики освободительного периода далеки от руссоистского доверия этой природе, действующей в Наполеоне, и сравнивают его с головой Медузы. Известный деятель политической романтики Адам Мюллер, который в 1808 году вместе с Клейстом издавал литературно-художественный журнал «Феб», охарактеризовал Наполеона как воплощение духа разрушения, несущего миру «евангелие смерти». Поразительна оценка Э.Т.А. Гофмана: в его глазах Наполеон — это монументальный образ «ночного мира», наполненный демонической энергией «звериного магнетизма».

Вряд ли уместно в рамках данной статьи подробно анализировать приведенные выше суждения о Наполеоне, которые, с одной стороны, проникнуты духом романтической чрезмерности, а с другой — содержат нечто, что как раз соответствует тайне художественной духовности, распознающей сложную многомерность мироздания с непостижимой для других типов сознания иерархией зримых и незримых миров. Именно художественная форма культуры призывает человечество быть внимательным и осторожным в отношении этих миров, поскольку слепое пренебрежение ими приводит к тому, что история перестает быть для человека внятной и прозрачной, переходя в пугающую в своей иррациональности и расчеловечиваемости траекторию рока. Феномен Наполеона в этой связи обостряет проблему «технологий тьмы», скрывающихся за «генеалогией рока».

Тема рока в связи с феноменом Наполеона нашла отражение в творчестве выдающегося австрийского драматурга Франца Грильпарцера, который родился в Вене в 1791 году. Для Грильпарцера характерно примечательное единство классически-просветительского и романтического восприятия как современности, так и истории под знаком рока. Одна из его трагедий особенно интересна для нас, поскольку устанавливает типологическую связь между французским императором и богемским королем Пржемыслом Оттокаром II, в честь которого, согласно Орденской хронике Петера фон Дусбурга, в 1255 году был назван Кёнигсберг. Эта трагедия «Величие и падение короля Оттокара», вышедшая в 1825 году, на средневековом фоне борьбы Оттокара за императорскую корону против Рудольфа I Габсбурга отражает историю крушения Наполеона. Богемский король, как его понимает и изображает Грильпарцер, и в самом деле очень похож на Наполеона, несмотря на романтическую интенсификацию его образа. В образе Оттокара показаны неистовство воли к власти, бесчеловечная заносчи-



вость самодержавного властелина, но одновременно и неудержимая энергия рока, жертвой которой он в конце концов становится сам.

Феномен Наполеона толкуется Грильпарцером в типологическом параллелизме с Оттокарром как бунтарское выражение романтического индивидуализма в его демонической попытке разрушить «общее дело» мирового закона, на который ориентируется классически-просветительское мировоззрение. В трагедии этот закон представляет Рудольф I, за образом которого угадываются европейские самодержцы «Священного союза» – победители Наполеона.

Своеобразный творческий парадокс Грильпарцера заключается в обостряющемся противоречии между классическим идеалом гуманности, воплощенном в образе Рудольфа, и реальным фактом нарастающей силы воли к власти, сокрушающей все человеческие мерзости и приобретающей мощь всеохватного рока. В трагедии об Оттокаре намечена главная опасность той исторической субъектности, которая свойственна личностям, подобным Наполеону, революционизирующим мировой процесс в его роковом ослеплении и обреченности на гибель. Примечательным образом это отразила судьба исторического Кёнигсберга, доказавшего в своем апокалиптическом финализме всю ложность идей, основанных на теориях военно-силовых, принудительных, а не просветительских и эволюционных методов изменения мира. Настала пора выйти из «гравитации рока», учитывая в том числе поучительный урок искушения Наполеоном. Пора различать *pro et contra*. Пора!..

Список литературы

1. *Гёте И. В.* Фауст // Собр. соч. : в 10 т. М., 1976. Т. 2.
2. *Эккерман И. П.* Разговоры с Гёте. Ереван, 1988.
3. *Rüdiger S.* Romantik. Eine deutsche Affäre. München, 2007.

Vladimir Gilmanov

THE PHENOMENON OF NAPOLEON IN THE GERMAN SPIRIT OF NAPOLEON'S AGE

This article considers judgements about Napoleon in the culture of German pre-romanticism as signs of literary diagnostics indicative of the contradictory dialectics of artistic consciousness in distinguishing the "codes" of life and death in arts. The completely opposite assessment of Napoleon in the history of German romanticism identifies the problem of a human being as a "field of fate" – a site of the battle between the Light and Darkness. The author emphasises the transformation of the legend of Napoleon in the German romanticism from the idealisation of the "world spirit" (G.W.H. Hegel) to defining it as a "symbol of social unnaturality" (H. von Kleist).

Key words: Romanticism, historical personality, Napoleon, Hegel, Goethe.

СЛОВЕСНОСТЬ



В романе Л. Леонова «Пирамида» читатель сталкивается со множеством культурных знаков, цитат и реминисценций, аллюзий и других отсылок к произведениям писателей, религиозных мыслителей, философов, ученых, известных политических деятелей, публицистов, из-за чего в критических отзывах роман сразу же получил определение «романа энциклопедического», «романа культуры».

Людмила Дарьялова

Главным достижением Чешихина является предложенная им интерпретация оперы Вагнера «Тристан и Изольда». Особенности оперы, маркированные Чешихиным, оказали влияние на все последующую традицию восприятия вагнеровской оперы русской культурой.

Анастасия Ведела

Переводы А. Аустриньша соотносимы с рецепцией Мережковского в инациональной культурной среде и фиксируют рефлексию по поводу русского писателя и его творчества.

Андрей Гордин

Проблема образа куклы в текстах традиционной культуры в пространстве фольклорных жанров до сих пор остается недостаточно отрефлексированной, несмотря на то, что данная исследовательская линия видится вполне научно перспективной.

Светлана Погодина

Людмила Дарьялова
(Калининград)

ГЕРМЕНЕВТИКА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ИНТЕРТЕКСТ В РОМАНЕ Л. ЛЕОНОВА «ПИРАМИДА»

Анализируется роман Л. Леонова «Пирамида» в аспекте герменевтических и интертекстуальных методик; устанавливаются координаты художественного диалога текста с читательской рецепцией. Доказывается, что герменевтические и интертекстуальные способы исследования позволяют определить в романе множественность пересечений художественных слоев, оценок и позиций, описать динамический процесс моделирования художественного смысла, в котором задействованы интертекстуальные связи и ассоциации как в тексте, так и в восприятии реципиента, а также выявить взаимозависимость интертекстуального слоя и роли читателя-сотворца в жанре философского романа.

Ключевые слова: герменевтика, интертекст, рецепция, философская проза, Л. Леонов.



Как известно, герменевтика вводит понятие «открытого произведения», включающего в себя такие дефиниции, как «поле возможности», явления «дополнительности», «вариативности», «интенциональности», отмечающие особый характер бытия художественного текста в сфере читательского потребления [4; 7–9]. «Подлинным содержанием произведения, – подчеркивает У. Эко, – становится способ восприятия этого мира и его оценки, ставший способом формотворчества, и на этом уровне будет вестись разговор об отношениях между искусством и миром» [8, с. 328].

В романе Л. Леонова «Пирамида» читатель сталкивается со множеством культурных знаков, цитат и реминисценций, аллюзий и других отсылок к произведениям писателей, религиозных мыслителей, фило-



соффов, ученых, известных политических деятелей, публицистов, из-за чего в критических отзывах роман сразу же получил определение «романа энциклопедического», «романа культуры». В то же время эмоционально-образная атмосфера «Пирамиды» представляет из себя напряженный духовный диалог героев с самими собой, друг с другом и с автором, выступающим в двойном облике — повествователя и героя. «Завещательное» по своему характеру и монументальное по исполнению последнее произведение писателя обращено к самым глубинным основополагающим проблемам концов и начал земного бытия: в чем смысл существования человечества; для чего, в каких целях создан этот мир и каковы конечные судьбы истории человечества вообще и России в частности. Роман является предупреждением о грозящей гибели земной цивилизации, если она утратит духовно-нравственные устои и ценности, завещанные Творцом.

Глубина и значимость вопросов, поставленных Леоновым, предполагает, что его художественная модель Вселенной получит адекватный отклик читателя по всем параметрам образного движения. Поэтому следует выделить герменевтический ракурс повествования, ориентированный на читателя-сотворца.

Один из первых законов герменевтики — закон исторических традиций (Г.-Г. Гадамер), то есть познание, точнее, вхождение в правду объекта с позиций своего, субъективного видения на протяжении временной горизонта существования текста. К тому же весь роман представляет собой постоянный спор, столкновение точек зрения, взглядов, позиций, на пересечении которых и возникает образ движущейся истории — ее этапов, ее потрясений и самообманов. Возьмем, например, эпизод беседы Вадима Лоскутова, одного из героев романа, с историком Филуметьевым. Вадим принес на суд свою повесть о Древнем Египте, фараоне, пирамидах и восстании рабов. В разговоре мелькают имена историков разных эпох: античных — Гекатея Милетского (IV в. до н. э.) и Диодора (I в. до н. э.), написавшего 40 книг о событиях и героях прошлого; упоминаются и не такие далекие времена, в частности, заходит речь о премьер-министре Великобритании Дизраэли (XIX в.), который вел политику колониальной экспансии; в беседе возникает имя Фотия, константинопольского патриарха, боровшегося за независимость восточной церкви, а также халифа Мамуна, искавшего сокровища Хеопса, и т. д. Эти интертекстуальные ссылки, знаки не только входят в ипостась образной характеристики персонажа, подчеркивая эрудицию профессора, но и расширяют горизонт читательского восприятия текста, поскольку благодаря им возникает пересечение времен и правд истории.



Филуметьев, с одной стороны, указывает Вадиму на ошибки в воссоздании исторического колорита: в повести египтяне носят чалмы, которые появились на Востоке много веков позднее; везут умерших цугом, на быках, как в украинских селах, «а применяемый у вас в похоронной процессии систр не имел струн» [2, т. 2, с. 203]¹. Но самое главное, по словам Филуметьева, что Вадим, осовременивая прошлое, допускает грубейший просчет, не считаясь с религиозным духом Древнего Египта: «...придуманый вами эпизод тем еще неправдоподобен, что в отличие от нашего с вами отечества... в ту эпоху патристические умы вряд ли позволили бы иноземному рабу учинять самосуд над сыном солнца, да еще за чертой заката» (II, 205). Таков приговор ученого, оценившего сочинение Вадима «в стиле модного ныне социалистического реализма» (II, 206). С другой стороны, Филуметьев не мог не отметить намеренного сближения советской эпохи с тиранией древности: «Однако повесть ваша обладает и жизнеопасными достоинствами с несколько прозрачным намеком на переживаемую нами современность, что в наши дни и за бутафорского Хеопса могут поставить к стенке» (II, 206).

И для Филуметьева, и для Вадима суть тирании во все времена одна и та же, будь то египетский фараон или пролетарский вождь: статус тирана — человекобожие. История же отвечает на эти религиозные вызовы власти одним — отрицанием, о чем простоудушно заявляет Вадим: «Ну, с помощью Хеопса я немножко предупредить хотел... что на одном-то испуге дольше сроку не продержишься, пожалуй. В том смысле, что часовые с ружьями никакую могилу от послезавтрашних, даже безоружных потомков все равно не устерегут» (II, 206). Конечно, читатель соотносит эти размышления героев с историческими событиями XX века, с возвышением и распадом тоталитарных систем.

Таким образом, эпизод встречи двух героев, включенный в структуру интертекстуальных связей, подводит к основной философской дилемме произведения о споре правды и лжи в процессе исторического бытия человечества. Так, Филуметьев вспоминает афоризм Дизраэли: «...бывает ложь, бывает наглая ложь и бывает статистика, на которой построены наши доктрины» (II, 206). Но не только факты, как следует из этой цитаты, определяют истинность жизни и ее понимание, а нечто другое, о чем говорит тот же герой: «Величие идей мерится не количеством покойников и развалин, а валютностью духовных благ, открывающих обществу взлет в простор чистого неба, для чего необходимы крылья» (II, 206).

¹ Далее том и страница данного издания указываются в тексте римской и арабской цифрами.



На наших глазах конкретные наблюдения и оценки интегрируются, переходят на более высокий уровень обобщения, и в тексте появляется образная символика, характеризующая вековечное стремление человечества вперед и выше. Эту возвышенную мечту и цель земного существования Вадим в пору своего увлечения советским романтизмом обозначил символом горизонтальной линии, включающей в себя, однако, и вертикаль: «Земляне, взявшись за руки и сомкнутым братским строем... шествуют к некоему отвлеченному солнцу» (II, 56). Этот символический мотив «шествия вперед и вверх», образы «горы» и «солнечного края» не раз будут возникать на узловых пересечениях архитектоники романа, вовлекая в круг интертекстуального материала имена многих художников и философов, адептов силы и мощи человеческой воли и разума.

В то же время в романе Леонова эти идеи материального и духовного прогресса скомпрометированы икаровским падением и ударом о твердь земную, то есть о реалии самой истории. Автор сосредоточил свои усилия на обратной стороне прогресса, его негативных последствиях, утверждая несостоятельность абсолютизации человеческого разума, отрыв от нравственных устоев и веры. Как замечает Филуметьев: «Наука без моральных основ бессмысленна, если не вредна» (II, 321).

Таким образом, аксиологическая сторона интертекстуальных свидетельств требует в «Пирамиде» двойной кодировки и соотношения каждого эпизода, каждого интертекстуального знака с основной парадигмой произведения — борьбой двух начал в природе человека и его истории: богочеловеческой и человекобожеской. Автор романа всем своим повествованием о мире и судьбах своих героев, униженных, гонимых, мятущихся духом, как о. Матвей, его сыновья, как дьякон Аблаев и профессор Филуметьев и многие другие, утверждал вслед за Ф.М. Достоевским: «Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца человеческие».

Таким образом, «Пирамида» Леонова требует от читателя ума и сердца, который в процессе овладения текстом может соотносить противоположности, чтобы понять и почувствовать общую картину мироздания, выраженную автором. Следует отметить, что в современных критических откликах встречаются крайние позиции. Одни исследователи, как, например, М. Любомудров, сопоставляя текст романа с канонами христианства, отрицают религиозно-христианскую направленность произведения: «Осью и стержнем романа, исполненного "антидостоевского" пафоса, стала мысль о том, что Бог предал человека. Столь грандиозная попытка опровержения христианства возникла на русской почве» [3, с. 97]. Другие авторы, такие, как В.С. Федоров, О. Овчаренко, Ю. Оклянский, придерживаются противоположной точки



зрения. В частности, В. С. Федоров убежден, что Леонов своим романом «Пирамида» твердо призывает стоять «на страже церкви, народного православия, тем самым продолжая лучшие традиции богословия и русской духовности». Объясняя свою оценку, автор статьи «По мудрым заветам предков» отмечает: «Писателю было важно в потоке болезненно-извращенного, обманутого и обольщенного разума, которым перенасыщен роман-наваждение, сохранить незыблемой веру, духовные ценности нации, сберечь каноническую чистоту православных святынь» [6, с. 57].

Столь противоположные выводы свидетельствуют прежде всего о сложности самого произведения, его концептуальной сферы, тем более что художественный стиль Леонова отличается образной многослойностью, наличием в письме «кодов», намеков, «каверз» [5, с. 43], переключек и сигналов, так что читателю следует погрузиться вглубь леоновской фразы, периода, страницы, чтобы не только найти ядро мысли, но и насладиться полнотой ее выражения.

Другая особенность герменевтического акта — *диалог* между «высказанным» и «невысказанным» в тексте, то есть (в терминологии Р. Ингардена) между «коммуникативной определенностью» и «коммуникативной неопределенностью». При этом каждый писатель создает свои приемы расширения читательского горизонта. Так, Леонов, повествуя о Москве 1930-х годов, широко использует *речевой курсив*, чтобы выделить основные культурно-идеологические представления времени и разбудить социальную память. Как правило, это характерные языковые приметы эпохи: политические оценки («опиум для народа», «успокоитель с дубиной», «усатый»), иронические названия («канапе» — прозвище диванчика о. Матвея) или идеологические формулы («кнут и пряник»), библейские и евангелические изречения («кроткие сердцем») и т. д.

В процессе художественного моделирования советской действительности писатель обращается к типовым стандартным идеологемам и формулам, усвоенным обществом в 1920–1930-е годы. Но за «высказанным» в тексте следует подтекст «невысказанный», отсылающий к другим культурным знакам и письменам. Так, уже в начале романа дана зарисовка московской окраины с ее березовой рощицей, стеклом битых бутылок под ногами и кладбищенской полуразрушенной церковью, закрытой, как сообщает рассказчик, «две пятилетки назад ввиду упразднения православного кладбища под центральный стадион с воинствующим на фронте девизом безбожия: в здоровом теле здоровый дух, который, по Ювеналу, кстати, достигается лишь упорной молитвой» (I, 9). Вот это словечко «кстати» и есть та речевая изюминка, которая открывает нам специфику леоновского иронического стиля,



его каверзы (по определению С. Семеновой), то есть такую двусмысленность, когда за первым смысловым планом следует второй, противоположный, а может быть, и третий, дополняющий, для чего читатель должен заполнить предложенные пустоты конструкции.

Цитата Ювенала, которую приводит автор, широко растиражирована в быту советских людей, означая пропаганду физической культуры. Но почему в усеченном виде? Не только потому, что римские боги ушли в прошлое. Без последней части, восстановленной Леоновым, формула Ювенала приобретает прямо противоположный смысл: «mens sana in corpore sano» («надо молить, чтобы ци (дух) был здоровым в здоровом теле»), то есть здоровый дух укрепляет здоровое тело, а не наоборот, как в советской идеологии, где утверждался примат телесности над духом.

Следует заметить, что этот фрагмент романа отображает господствующую тенденцию разрыва с прошлым и ориентацию на молодость и здоровье. Наблюдения Леонова пересекались с позицией других художников 1920–1930-х годов. В частности, леоновское ироническое описание кладбища, переведенного в ранг парка культуры, корреспондирует с не менее ироничным пейзажем города Арбатова у И. Ильфа и Е. Петрова, его центра, где находился парк или сквер культуры и отдыха. Сатирики отметят и фанерную арку с известковым лозунгом «Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек», и длинную аллею, именованную «Бульваром молодых дарований», и одиноких девиц с раскрытыми книгами, и их заметное волнение при виде Остапа Бендера... Прямых текстовых совпадений у Леонова с авторами «Золотого тельца» нет, кроме общей детали — арки с лозунгом. Однако примат телесности, даже ее избыточность сближают столь различные по конкретике пространственные изображения.

Таким образом, герменевтический аспект позволяет нам констатировать, с одной стороны, выразительность, мощь и художественную силу леоновского романа, вобравшего в себя все многообразие культурных феноменов, знаков, сигналов как в тексте, так и в подтексте. С другой стороны, на примере «Пирамиды» раскрываются возможности читательского сотворчества в *диалоге* горизонта романа и горизонта реципиента, утверждается их *движение* и взаимообогащение в конструировании художественной модели мира.

Есть еще одна сфера интертекстуальных связей, которую не может обойти вниманием столь многогранное, циклопическое сооружение, как роман «Пирамида». Речь идет об эстетике восприятия, о способности читателя к интенции в области художественной памяти и воображения. В романе не случайно возникает разговор о цирковом искусстве, о кино, о литературе и публицистике. В пространстве произведения действуют артисты цирка, создатели киноиндустрии, организаторы



ры зрелищ, сочинители, такие, как Вадим, и писатели, как и сам автор Леонов. Один из эпизодов произведения связан с болезнью Дуни, дочери о. Матвея, и ее обследованием после приступа. Знакомый психиатр приезжает в дом отца Матвея и после долгой беседы с больной объясняет родным особенность ее впечатлительной натуры. Именно в этом эпизоде Леонов рассматривает своеобразие творческого воображения, прибегая к интертекстуальной цитации.

Комментируя рисунки Дуни, способность ее воображения в хаосе чернильных пятен увидеть различные фигуры и фантомы, писатель ссылается на Леонардо да Винчи, припоминая его совет ученикам: «Творчески вглядываться в плесень отсыревшей штукатурки, где... сам он неоднократно различал и битву гарпий с гигантскими улитками, и воспламененное шествие нищих Петра Амьенского в Святую землю, и вовсе экзотические находки» (I, 75).

Сравним этот фрагмент романа с оригиналом письма Леонардо. «Советую, — писал великий художник Возрождения, — поглядеть на стены, запятнанные водой и плесенью, и вы сможете узреть там божественные виды с горами, лесами, долинами, и потом вы увидите там битвы и тела, и лица в громадном разнообразии» (цит. по: [1, с. 422]).

Конечно, автор «Пирамиды» изменил, точнее, творчески преобразил фантазийные уроки Леонардо, но во фрагментах совпадают не только ведущие лексемы и образы — «плесень стен», «битва», различные лица и позы тел, но и сама способность воображения проникнуть в тайны подсознания. Именно на эти точки реалий обратила свое внимание Анна Ахматова в «Тайнах ремесла», где использовала леонардовскую «плесень» как аргумент в пользу включения низкого, неэстетического в среду прекрасного, в тайну искусства:

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость нам и мне [1, с. 277].

Интертекстуальные переключки с Леонардо да Винчи и Ахматовой включают ассоциативную память читателей, расширяя культурные пространства романа. Можно констатировать двойную, тройную кодировку текста и его реципиента, тем более что мотив плесени снова возникает в романе — теперь уже в представлениях Шатаницкого, в его системе мироздания (плесень — это грибки, прародители человечества). В романе цель Шатаницкого как представителя Сатаны — оппоритить теорию божественного творения человека. Следовательно, читатель снова включается в полемику между Добром и Злом, Правдой и Ложью, но уже через философию искусства.



Итак, герменевтические и интертекстуальные способы исследования позволяют определить в романе Л. Леонова, во-первых, множественность *пересечений* художественных слоев, оценок и позиций, с тем чтобы выйти на общечеловеческие и религиозные ориентиры и ценности; во-вторых, перед нами *становящийся*, движущийся процесс моделирования, в котором задействованы интертекстуальные связи и ассоциации как в тексте, так и в восприятии реципиента; в-третьих, чем богаче и разностороннее интертекстуальный слой, тем активней и весомее роль читателя-сотворца, особенно в жанре философского романа, где требуется сближение горизонта текста и горизонта читателя, активная работа его культурной памяти и воображения, сближение, которое подчеркивает незавершенность, открытость этого произведения.

Список литературы

1. Ахматова А. Соч. : в 2 т. М., 1990. Т. 1.
2. Леонов Л. Пирамида : роман-наваждение в трех частях. М., 1994.
3. Любомудров А. М. Суд над творцом. «Пирамида» Л. Леонова в свете христианства // Рус. литература. 1999. №4.
4. Рикёр П. Конфликт интерпретаций : очерки о герменевтике. М., 1995.
5. Семенова С. Парадокс человека в романах Леонида Леонова 20–30-х годов // Вопросы литературы. 1999. №5.
6. Федоров В. С. По мудрым заветам предков: религиозно-философский феномен романа Л. Леонова «Пирамида» // Рус. литература. 2000. №4.
7. Цурганова Е. А. Два лика герменевтики // Рос. литературоведческий журнал. 1993. №1.
8. Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 2006.
9. Jauss H. R. Aesthetische Erfahrung und litteratische Hermeneutik. München, 1977.

Lyudmila Daryalova

THE HERMENEUTICS OF LITERARY MODELLING AND INTERTEXT IN L. LEONOV'S NOVEL «THE PYRAMID»

This article analyses L. Leonov's novel «The Pyramid» from the perspective of hermeneutical and intertextual methodologies and identifies the coordinates of the text's literary dialogue with the reader's perception. The author shows that the hermeneutical and intertextual research methodologies make it possible to identify the multitude of intersections of literary layers, evaluations, and positions and describe the dynamic process of modelling a literary meaning, which employs intertextual connections and associations both in the text and in the recipient's perception, as well as to reveal the interconnection between the intertextual layer and the role of reader-co-creator within the genre of philosophical novel.

Key words: *hermeneutics, intertext, reception, philosophical prose, L. Leonov.*

*Анастасия Ведела
(Рига, Латвия)*

В. Е. ЧЕШИХИН — ПОПУЛЯРИЗАТОР СЮЖЕТА О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Исследуется деятельность В.Е. Чешихина как переводчика, популяризатора и интерпретатора легенды о Тристане и Изольде, положенной в основу либретто оперы Р. Вагнера. Устанавливаются базовые положения критической концепции В.Е. Чешихина: Вагнер как «истолкователь старой легенды», связь легенды о Тристане и Изольде с текстами эллинской и кельтской культур, акцентирование языческой составляющей легенды и оперы, роль литературных влияний на Вагнера. Анализируется использование Чешихиным сюжета о Тристане и Изольде в собственном поэтическом творчестве.

Ключевые слова: *межкультурная коммуникация, Р. Вагнер, традиционные сюжеты в искусстве.*



Вмя уроженца Риги Всеволода Евграфовича Чешихина, круг творческих и научных интересов которого был чрезвычайно широк, тесно связано прежде всего с работами Рихарда Вагнера, особенно с оперой «Тристан и Изольда». Обращение к этой теме начинается с пересказа Чешихиным сюжета оперы в книге 1893 года «Краткие либретто: содержание 100 опер современного репертуара» [4]. Книга переиздавалась дважды: в 1904 (содержание 132 опер) и 1915 годах (содержание 150 опер) [5; 6]. В издании 1904 года появляется сноска — комментарии к началу первого акта оперы: «Тристан уклоняется от объяснений, так как втайне любит Изольду и, не подозревая взаимности, великодушничает, устраивая для Изольды выгодную брачную партию в Корнвалисе» [5, с. 110]. То, что изначально



но этой ссылки не было, указывает на серьезную работу по интерпретации оперы, проведенную Чешихиным уже после 1893 года.

В 1894 году Чешихин выполняет первый перевод либретто вагнеровской оперы на русский язык. Этот перевод использует Мариинский театр, когда в 1899 году впервые на русской сцене¹ ставит оперу с Ф. Литвин и И. Ершовым в главных ролях [2, с. 28].

Чешихин не только переводит оперное либретто, но еще и предлагает свой комментарий к опере и легенде в целом. Речь идет о научно-популярной статье, опубликованной в журнале «Артист» в том же 1894 году [8].

Значение этой публикации трудно переоценить. Это первая статья, непосредственно посвященная образам Тристана и Изольды. В основном Чешихин пишет об опере Вагнера (прежде всего это комментарий к переводу либретто); однако из текста статьи можно сделать вывод о знании Чешихиным и других источников легенды. Во-первых, автор статьи сам называет эти источники, говоря о «кельтическом» происхождении легенды, ее распространении по Франции, Англии, Германии и Италии [8, с. 31]. Он упоминает романы и обработки легенды Беруля, Томаса, Готфрида фон Страсбургского, Ганса Сакса, Иммермана и Э. Гартмана [Там же, с. 32]. Кроме того, пересказ Чешихиным содержания легенды указывает на знакомство автора статьи или с кельтскими источниками легенды, или со средневековым анонимным романом «Тристан-юродивый». И в кельтских версиях, и в романе «Тристан-юродивый» Морхольт, с которым бьется Тристан, представлен как «чудовище вроде Минотавра, которое собирало с Корнваллиса дань молодыми девушками» [Там же, с. 31]; в других, более поздних, текстах Морхольт становится рыцарем.

Тем не менее главное достижение Чешихина — это предложенная им интерпретация оперы Вагнера «Тристан и Изольда». Особенности оперы, маркированные Чешихиным, оказали влияние на последующую традицию восприятия вагнеровской оперы русской культурой.

Во-первых, Вагнер для Чешихина — «истолкователь старой легенды» [Там же, с. 33], то есть композитор берет известный сюжет и демонстрирует его собственное понимание, создавая свои образы Тристана и Изольды. Кроме того, Вагнер, с точки зрения Чешихина, является тем, кто возрождает к жизни исчезнувший сюжет о Тристане и Изольде [Там же, с. 33]. Таким образом, со статьи Чешихина начинается свойственное русской культуре осмысление особой роли Вагнера в разработке сюжета о Тристане и Изольде.

¹ Опера исполнялась в России и в 1898 году, но это были гастроли немецкой труппы Парадиза в Петербурге под управлением Ю. Прювера.

Во-вторых, Чешихин затрагивает важную тему — интуитивно осознанную Вагнером связь легенды с текстами эллинской и кельтской культур. Чешихин называет следующие возможные аналогии из «эллинической» литературы и мифологии: истории о Тезее, Ариадне и Минотавре (Морхольт — «чудовище вроде Минотавра»), а также Париса, Елены и Эноны². Чешихин ссылается на то, что «сам Вагнер указывал на то, что кубок в его драме подобен факелу Эроta у древних эллинов: бог с поднятым факелом обозначал любовь, бог с факелом опущенным — смерть» [8, с. 34].

Еще один важный элемент восприятия легенды о Тристане и Изольде и оперы Вагнера, выявленный Чешихиным, — акцентирование языческой, а не христианской составляющей легенды и оперы. Исследователь, характеризуя легенду о Тристане и Изольде, говорит о древности, первобытности, природности сказания [Там же, с. 31–32], что находит отражение в произведении Вагнера.

Связь легенды о Тристане и Изольде с древнегреческой и кельтской (языческой) культурами соответствует общему мировоззрению Вагнера. Во время своего дрезденского периода (1842–1849) Вагнер изучает поэму Готфрида Страсбургского вместе с Песней о нибелунгах, сравнивая историю любви Тристана и Изольды с отношениями Зигфрида и Брунгильды. Как отмечает Чешихин, Вагнер приходит к убеждению, что между всеми народными мифами есть коренное сходство и что все мифы являются лишь вариациями одной общей темы [Там же, с. 45]. Исползованная Вагнером легенда о Тристане и Изольде служит хорошим материалом для психологической, общечеловеческой истории, создать которую было задачей и желанием Вагнера [Там же, с. 36]. Именно поэтому, с точки зрения Чешихина, любовному напиту в опере Вагнера отводится несущественная роль [Там же, с. 34].

Кроме того, Чешихин размышляет о литературном влиянии, которому подвергся Вагнер, работая над либретто оперы. Главным источником вагнеровского противопоставления дня и ночи Чешихин считает работы Шопенгауэра [Там же, с. 44]. Вагнер осмысливает и перерабатывает идеи Шопенгауэра, который в своем стремлении к ночи стремится к жизни, тогда как единственным выходом для вагнеровских Тристана и Изольды становится смерть [Там же]. Кроме того, Чешихин сравнивает сжатый слог Вагнера со слогом Шекспира, а страдания Тристана, ожидающего Изольду в последнем акте, со страданиями Гамлета [Там же, с. 37].

² Возможно, этот вывод основан на исследованиях Веселовского, который в книге «Из истории романа и повести» сопоставляет как раз истории Тристана — Изольды и Париса — Елены — Эноны [1].



У оперы «Тристан и Изольда» есть как почитатели, так и яростные противники; тем не менее опера, по словам Чешихина, является образцом новой формы искусства, которую создавал и пропагандировал Вагнер, образцом музыкальной драмы, где «органически сливаются две отрасли искусства: музыка и поэзия» [8, с. 35]. Таким образом, именно опера Вагнера приводит к тому, что сюжет Тристана и Изольды воспринимается русским сознанием как органичное слияние музыки и слова, как один из важных элементов русских художественных текстов о Тристане и Изольде (например, текстов М. Кузмина — стихотворения «Элегия Тристана», «Сумерки», цикл «Форель разбивает лед» и др.) [3].

Статья Чешихина интересна и тем, что исследователь строит предположения о судьбе оперы «Тристан и Изольда» в русской культуре: «Нас бы не должно оставить безучастными настроение Вагнеровской драмы. Томление (так Чешихин определяет основное настроение оперы «Тристан и Изольда». — А. В.) неоднократно служило предметом изображения в произведениях русских поэтов и романистов (далее Чешихин приводит в пример тексты Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого). Но раз основная идея, основное настроение музыкальной драмы Вагнера будет у нас на Руси понято и оценено, то "Тристан" (разумеется, лишь поставленный на сцене. — А. В.) не останется без влияния на русское искусство. Интерес, представляемый мифом, давшим фабулу драме, быть может, заставит поискать и в нашей народной литературе аналогичного сказания... Своеобразный стихотворный размер драмы, акцентуация, соответствующая и духу русского народного метра, может дать для мыслящего поэта несколько совершенно новых эффектов и комбинаций» [Там же, с. 47]. Таким образом, исследователь органично вписывает вагнеровских Тристана и Изольду в уже существующий контекст русской культуры.

Наконец, Чешихин разрабатывает сюжет о Тристане и Изольде и в собственных поэтических текстах начала XX века. Речь идет о сонете «Перед решительным боем» из сборника «Патриотические стихотворения» 1914 года [7]. На обложке книги указана цель издания: «Весь чистый сбор идет на нужды воинов и их семейств», что объясняет и обилие рекламы в сборнике (16 страниц стихотворений и 48 — рекламы), и общий контекст стихотворений, нацеленный на поддержание боевого, «патриотического» духа русских солдат. Тем более неуместным на первый взгляд в этом контексте кажется присутствие Тристана и Изольды:

Боец тоскующий и жаждующий боя
и восклицающий: «Скорей, конца начало!» —
скажи поэту, мне, во имя идеала:
как мне возвыситься, чтоб другом стать героя?



В кровавом воздухе больничного покоя
я внемлю раненым, но этого мне мало...
Не познает мой дух военного закала
в крещеньи огненном, в рядах родного строя!..
Как хороши слова старинного романа:
«Он кровию истек; не пережив Тристана,
Изольда истекла любовью и слезами!»
Давайте-ж истекать: вы — вашей светлой кровью,
все любящие вас — слезами и любовью,
а я — горячими, кровавыми стихами! [7, с. 13].

Адресатом книги Чешихина является русский солдат: в книгу входят такие стихотворения, как «Русскому воину 1914 г.», «Сонет офицеру, приславшему весточку с поля битвы», «Воину, читавшему мои стихи товарищам в окопе» и др. Врагом русского солдата в книге выступает «немец». Например, в стихотворении «Императору Вильгельму»:

Тебе я гибель предвещаю
Как всероссийскому врагу [Там же, с. 6].

Или в стихотворении «Русскому воину 1914 г.»:

Землю немец ли, вампир,
озверит и онемечит?
Россиянин — вот кто мир
обрусит, очеловечит! [Там же, с. 1].

Желание создать «новый, русский Третий Рим» [Там же, с. 1] и «обрусить мир» эксплицитно заявлено в книге Чешихина. Если говорить о культурных отсылках в сборнике, то это в основном образы немецкой культуры:

... молитвой Шуберта «Ave Maria»
певица милость на славян зовет... [Там же, с. 4];

... сказал поэт умно и точно, —
Читай у Геббея «Рубин»! [Там же, с. 7];

... рубашкой Шиллера-поэта
ты восхищал девичий глаз [Там же, с. 11].

Заметим (это явствует из статьи Чешихина 1894 года), что и старинный роман о Тристане и Изольде для поэта также имеет прямое отношение к немецкой культуре, в которой благодаря Вагнеру он обрел



новую жизнь. Таким образом, Чехихин говорит с адресатом книги — с русским солдатом — на языке немецкой культуры, и этому есть несколько объяснений.

Во-первых, таким способом поэт демонстрирует величие русского народа, который понимает и признает культуру врага, а это, в свою очередь, позволяет отнестись к врагу по-дружески. Например, в стихотворении «Военнопленному»:

Но лишь на поле битвы к немцу
Враждебен русский как к врагу.
К тебе-ж как к брату-иноземцу
Я с дружбой отнестись могу [7, с. 11].

Стихотворение не случайно озаглавлено «Военнопленному»: к плененному врагу русский солдат испытывает сострадание как к другу, что еще раз подтверждает мысль о благородстве русского духа, о чем прямо и пишет Чехихин:

Пускай к своим военнопленным
Суров воинственный тевтон, —
Пребудет русский неизменным
В добре, скрывая гнев и стон [Там же, с. 12].

Таким образом, принятие немецкой культуры даже в ситуации войны демонстрирует силу и непобедимость русского народа, который остается человечным и на поле боя.

Во-вторых, обилие отсылок к немецкой культуре можно объяснить творческой стратегией Чехихина, о которой он сам пишет в стихотворении «На молебствии 20 августа 1914 г. в католическом храме Богоматери в Риге»:

Иль странно мне, что Шуберт сей германский
Славянской цели служит нынче? — Пусть!
Всечеловечен дух его гигантский,
и всяк поет ту песню наизусть... [Там же, с. 4].

В книге «Патриотические стихотворения» Чехихин эксплицитно заявляет, что культура является общечеловеческим достоянием (всечеловечный дух Шуберта известен всему русскому народу). С этой точки зрения для Чехихина (а благодаря Чехихину и для массового русского читателя) легенда о Тристане и Изольде к 1914 году уже приобрела статус общечеловеческого сюжета, что и объясняет его включение в контекст популярной книги.



Список литературы

1. Веселовский А.Н. Из истории романа и повести. Вып. 2 : Славяно-романский отдел // Сб. отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. СПб., 1888. Т. 44. №3.
2. Круминя И. Всеволод Евграфович Чешихин : биографический очерк // Даугава. 1996. №4.
3. Кузмин М. Избр. произведения. Л., 1990.
4. Чешихин В.Е. Краткие либретто: содержание 100 опер современного репертуара. Рига, 1893.
5. Его же. Краткие либретто: содержание 132 опер современного репертуара. Рига, 1904.
6. Его же. Краткие либретто: содержание 150 опер современного репертуара. Рига, 1915.
7. Его же. Патриотические стихотворения. Рига, 1914.
8. Его же. Тристан и Изольда Вагнера // Артист. 1894. №42.

Anastasija Vedela

V.YE. CHSHIKHIN AS A POPULARISER OF THE TRISTAN AND ISEULT MOTIF IN RUSSIAN CULTURE

This article examines the work of V.Ye. Chshikhin as a translator, populariser, and interpreter of the legend of Tristan and Iseult – the basis of libretto to R. Wagner’s opera. The author identifies the basic assumptions of V.Ye. Chshikhin’s critical concept: Wagner as an “interpreter of the old legend”, the connection between the Tristan and Iseult legend with the texts of Hellenic and Celtic cultures, the emphasis on the language component of the legend and opera, and the role of literary influences exerted on Wagner. The article analyses the use of the Tristan and Iseulte motif in the poetic works of Chshikhin.

Key words: *cross-cultural communication, R. Wagner, traditional motifs in arts.*

Андрей Гордин

(Рига, Латвия)

АНТОНС АУСТРИНЬШ — ПЕРЕВОДЧИК ДМИТРИЯ МЕРЕЖКОВСКОГО



На примере переводов произведений Д. Мережковского на латышский язык А. Аустриньша исследуется рецепция русского символизма в латышской культуре рубежа XIX – XX веков. Предполагается, что на выбор А. Аустриньшем текстов Д. Мережковского для перевода оказал влияние исторический фон 1910-х годов – формирование национальных идей в регионах Российской империи, поиски самоидентичности народов, революция 1905 года как резонансное историческое событие. Переводы Аустриньша соотносимы с рецепцией Мережковского в инациональной культурной среде и фиксируют рефлекссию по поводу творчества русского писателя.

Ключевые слова: художественный перевод, модернизм, символизм, латышская литература.

Переводной текст может быть определен как одна из форм рецепции оригинального текста в инациональной культурной среде и как оригинальное творчество переводчика, который ориентируется на свое собственное восприятие того или иного текста. Сам перевод может представлять как раз художественную программу переводчика, а не автора оригинального текста. На эту «эстетическую» составляющую во многом влияет и тот выбор, который делает переводчик при работе с оригинальным произведением [2, с. 134 – 175].

При анализе переводов, по нашему мнению, следует также помнить о некоторых интертекстуальных, типологических связях, которые возникают при соприкосновении двух культур в едином историко-литературном контексте – перевод и сама фигура переводимого автора (особенно восприятие его творчества в инациональной среде в совокупности с историческим фоном) могут оказывать влияние на собственное творчество переводчика.

В типологическом плане произведения Д. Мережковского, его художественные представления (наряду с творчеством В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Ремизова и др.) можно рассматривать как некую эстетическую основу для формирования вкусов и литературных взглядов в среде латышских модернистов [4, с. 9]. Наверное, поэтому так значим уже сам факт перевода отдельного текста конкретного автора в иной культуре.

Первый перевод поэтического текста Мережковского на латышский язык был осуществлен Аспазией (Aspazija) в 1901 году. Речь идет об одном из программных стихотворений — «Одиночество» (1890, в латышском переводе — «Vientulība»): «Поверь мне: люди не поймут / Твоей души до дна!.. / Как полон влагою сосуд, — / Она тоской полна» [1, с. 170–171]. В латышском переводе: «Ak, nav uz visas pasaules / Nevieni tik tuvs tev draugs, / Kam izlietos šīs dvēseles / No sārēm pilnais trauks». Этот перевод был опубликован в ежемесячном издании «Домашний гость» («Mājas Viesa Mēnešraksts», № 3) [11, л. 202]. Далее, если говорить о стихотворных переводах Мережковского, следует публикация стихотворений «Ужель мою святыню» (1909) / «Vai mūžam nesarvastu» (1913) в переводе Карлиса Крузы (Kārlis Krūza), «Поэт» (1894) / «Dzejnieks» (1914) в переводе Яниса Карстениса (Jānis Kārstenis) и др. Отметим, что для перевода избирались те стихи Мережковского, которые обладали так называемым «декларативным», программным характером и указывали на развитие идей символизма в России.

Внимание к крупным прозаическим произведениям Мережковского возникает ближе к 1910-м годам, когда в 1908 году А. Аустриньшем переводится его роман «Юлиан Отступник. Смерть богов». Латышский текст «Julians Atkritējs» был анонсирован Харальдом Элдгастом (Haralds Eldgasts) в газете «Латвия» («Latvija») в 1908 году (№ 228). В этом же издании появляется перевод отдельных глав этого романа (№ 229–265, 267–300). О важности этого перевода говорит тот факт, что рецензия на него выходит на первой полосе газеты. Отдельным изданием роман был опубликован в том же 1908 году под заголовком «Kristus un Antikrists: triloģija. 1.d. Julians Atkritejs (Deewu nahwe)» с предисловием Х. Элдгастса¹, в котором последний отмечает:

...religiskajā nozīmē krievu tauta ir apdāvinātākā. Krievu rakstnieki (tādi kā Fjodors Dostojevskis, Ļevs Tolstojs, V. Solovjovs) ir ne tikai pareģi, bet arī reformētāji, kuri alkst pēc cilvēces, kura iegrimusi Visuma ļaunumā, atdzimšanas. Viņiem ir svarīgi pasargāt cilvēku kā individu no pasaules vēstures disonanses, atklāt viņa iekšējā pasaulē garīgās spējas, kuras spēj turēties pretī sabiedrības sairumam. Kopā ar viņiem ir arī Merežkovskis. Viņa daiļdarbi

¹ Сам текст рецензии был опубликован в газете «Латвия» в 1908 году. В отдельном издании и в полном переиздании 1927 года этот текст был перепечатан.



tikuši izdoti vairākas Rietumeiropas valstīs – tulkoti angļu, franču un daudzās citās valodās. Merežkovska vārds allaž izraisa paaugstinātu interesi. Viņš, protams, ir mazāk ģeniāls, nekā viņa dižie priekšteči, bet viņa pārākums pār vairumu jauno rakstnieku ir tajā, ka viņš savieno savā daiļradē dziļas zināšanas vēstures un kultūras jomā ar dziļu antīkās kultūras garīgo pieredzi.

<...>

Merežkovskis ir populārs rakstnieks, kura daiļdarbi aktīvi tiek apspriesti presē. Latviešu valodā iztulkoti tikai daži viņa dzejoļi, bet prozas teksti, kas ir viņa daiļrades galvenā daļa, latviešu valodā nav izdoti [7, l. 5]².

Автор статьи в связи с «Юлианом Отступником» пишет:

Šī ir pirmā triloģijas daļa, kura cieši saistīta ar Merežkovska reliģiski filozofiskajiem uzskatiem. Juliāns, Leonardo, Pēteris I – tie ir personāži, kuriem ir nozīme paša Merežkovska personīgajā traģēdijā un viņš pauž savas bailes ar to palīdzību [Там же, l. 14 – 15]³.

Таким образом, черты героев, по мнению Элдгастса, во многом выражают личный опыт самого Мережковского, он указывает, что помимо исторической составляющей первая часть трилогии представляет собой «jaunās reliģiskās apziņas meklējums un tās sludināšana, jaunais evaņģēlijs» [7, l. 15]⁴.

² «В религиозном смысле русский народ является наиболее одаренным во всем мире. Русские писатели (такие, как Федор Достоевский, Лев Толстой, Вл. Соловьев) являются не только пророками, но и реформаторами, жаждущими возрождения человечества, погрязшего во вселенском зле. Для них очень важным становится защитить человека как индивида от диссонансов всемирной истории, раскрыть в его внутреннем мире духовные силы, способные противостоять распаду общества в целом. В их ряду стоит и Мережковский. Его произведения были изданы во многих западноевропейских странах – были переведены на английский, французский и многие другие языки. Слово Мережковского всегда вызывает к себе повышенный интерес. Он, конечно же, менее гениален, чем его великие предшественники, но его превосходство над многими молодыми писателями в том, что он сочетает в своем творчестве глубокие знания истории и культуры с глубоким духовным опытом Античности <...> Мережковский – популярный писатель, произведения которого активно обсуждаются в печати. На латышский язык были переведены лишь некоторые его стихотворения, тогда как прозаические тексты, которые составляют главную часть его творчества, в переводе на латышский не выходили» (перевод с латышского здесь и далее наш. – А. Г.).

³ «Это первая часть трилогии, которая тесно связана с религиозно-философскими взглядами Мережковского. Юлиан, Леонардо, Петр I – это те персонажи, которые играют важную роль в личной трагедии самого Мережковского, посредством которых он выражает собственные страхи.»

⁴ «Поиск и проповедь нового религиозного сознания, новое евангелие.»

В 1910 году в №17 газеты «Утренний вестник» («Rīta Vēstnesis») был опубликован адаптированный пересказ статьи Мережковского «Зеленая палочка» («Zaļā nūjiņa»), которая была посвящена смерти Льва Толстого. Латышская газета практически сразу же реагирует на эту статью Мережковского: сама статья выходит в газете «Речь» 20 ноября 1910 года, латышский же ее вариант — 26 ноября. Внимание латышского читателя, конечно же, обращено к событию, получившему в то время всемирный резонанс, — смерти Льва Толстого. Но для нас важен тот факт, что одним из корреспондентов этого события для латышской культурной среды был Мережковский. В том же году появляется еще один перевод Аустриньша из Мережковского — роман «Петр и Алексей» / «Antikrists. Pēteris un Aleksejs». Как и в случае с «Юлианом Отступником», публикации полной версии романа предшествует выход некоторых глав в газетах «Новый дневной листок» («Jauna dienas lapa», 1910, №33 — 174) и «Латвия» («Latvija», 1910, №28 — 146). В последней печатается и рецензия на перевод Альфреда Розентала (Alfrēds Rozentāls), которая в отличие от статьи Х. Элдгагса, не вошла в качестве предисловия к переводу романа «Антихрист». В своей рецензии Розенталс подчеркивает, что это уже третий роман Мережковского, который переводится Аустриньшем: «Šoreiz tas ir Merezkovska trešā romāna autorizētais tulkojums. Pētera I un cara dēla Alekseja konflikts ir tikai fabula. Romāna centrā ir kristīgās un pagāniskās pasaules cīņa» [10, l. 2—3]⁵. Характеризуя сам перевод, автор статьи отмечает: «Austriņa tulkojums ir korekts, izņemot dažus rusismus» [Там же, l. 2—3]⁶. По поводу же появления самого перевода романа Розенталс особо подчеркивает: «Merezkovska romāns ir nozīmīgs un vērtīgs darbs latviešu pēdējā laikā tulkotajā literatūrā» [Там же]⁷.

Также Аустриньшем были выполнены переводы двух «Итальянских новелл» Мережковского — «Микеланджело» и «Наука любви». Первая была опубликована в газете «Латвия» («Latvija») в 1911 году (№162 — 173) (отдельным изданием вышла в 1923 году: *Mereschkowskis D. Mikels-Andželo : vēsturiska novele / tulk. Antons Austriņš. Rīga: A. Gulbis. Universālā bibliotēka, 1923 (№257)*), вторая — в литературном приложении к газете «Латвия» («Latvijas literāriskais pielikums». 1911, №28).

Если говорить об исторической новелле «Микеланджело», то сам текст оригинала предворяет стихотворение «Тебе навеки сердце бла-

⁵ «На этот раз нам представлен авторизированный перевод третьего романа Мережковского. Конфликт Петра Великого и царевича Алексея лишь фабула. В центре романа — борьба христианского и языческого мира.»

⁶ «Перевод Аустриньша достаточно корректен, за исключением некоторых русизмов.»

⁷ «Роман Мережковского — значительный и ценный труд в латышском переводной литературе последнего времени.»



годарно...» [9, с. 278], которое Мережковский неоднократно публиковал отдельно от основного текста произведения как самостоятельное под названием «Микель-Анжело». При этом в полном собрании своих произведений 1914 года Мережковский публикует его без разбивки на строфы. Текст в латышском варианте получил свое название (собственно от строфики) – «Терцина» («Tercīne»). Перевод сделал Эдвардс Вирза (Edvarts Virza) – «Tev, Florence, sirds pateicas arvienu...» Это стихотворение было опубликовано в 1911 году вместе с первой частью перевода Аустриньша («Latvija», № 162).

Помимо Аустриньша прозу Мережковского переводят Августс Мелналкснис (Augusts Melnalksnis; его авторизованный перевод драмы «Павел I» / «Pāvils I» в 1913 году не был завершен, первая публикация перевода романа «Александр I» / «Aleksandrs I» осуществлена в 1913 году в «Dzimtenes Vēstnieša literāriskais pielikums», № 109; отдельным изданием вышел в 1928 году); Линардс Лайценс (Linards Laicens; роман «Леонардо да Винчи» / «Leonardo da Vinči», 1924); Волдемарс Дзелтыньш (Voldemārs Dzeltiņš; роман «Декабристы» / «Dekabristi», 1927) и др.

В количественном отношении переводы произведений Мережковского Аустриньша преобладали над всеми остальными. До событий 1917 года им были переведены два романа (один из них с согласия самого автора) и две новеллы Мережковского.

Выбор произведений для перевода, как нам кажется, не был случайным. Аустриньш переводит лишь первую и третью книги трилогии Мережковского «Христос и Антихрист», оставляя без внимания роман «Леонардо да Винчи». По-видимому, на выбор текстов латышским переводчиком повлиял исторический фон 1910-х годов, характеризующийся формированием национальных идей во многих регионах Российской империи (в том числе и в Латвии), поисками самоидентичности народов и т. д. Резонирующим событием можно рассматривать и революцию 1905 года (сам Аустриньш принимал участие в этих событиях, некоторое время скрывался от полиции), которая дала импульс многим историческим явлениям последующего десятилетия. Этим объясняется интерес Аустриньша к третьей книге трилогии, в которой многие видели не просто очередную модификацию религиозно-философской системы Дмитрия Мережковского, а роман, «raksturo despotisko Krievijas monarhismu. Pēteris I cenšas izspiest Krievijai Rietumeiropas kultūrai jau sen novecojušās vērtības»⁸ (из рецензии Алфреда Розентала на перевод романа «Антихрист. Петр и Алексей») [10, л. 3].

⁸ «...характеризующий деспотический русский монархизм. Петр Великий пытается своей железной волей навязать в России уже давно устаревшие для западноевропейской культуры ценности.»

Обратимся к некоторым событиям в жизни самого Мережковского этого периода (после 1905 года). Писатель крайне негативно оценил расстрел демонстрации в Петербурге во время революции 1905 года; с 1906 по 1908 год он находится в эмиграции, где тесно сошелся с радикальными представителями партии эсеров — Борисом Савинковым и Ильей Фондаминским. В его взглядах просматривается религиозный анархизм (идея о том, что самодержавие — от Антихриста). В 1908 году он вернулся в Россию, где продолжил поддерживать идею «религиозной революции»⁹.

Таким образом, помимо чисто эстетической мотивировки Аустриньш, возможно, апеллирует к политической составляющей портрета Мережковского, которая сложилась к тому времени. К тому же важными для него становятся художественные моменты, связанные с религиозным (внутренним) опытом писателя. Следует заметить, что в 1911 году Аустриньш вместе с Эдвардом Янсоном (Edvarts Jansons) переводит роман Льва Толстого «Воскресение» / «Augšamcelšanās». Занимаясь переводами, Аустриньш в какой-то мере искал духовные ориентиры, которые смог бы реализовать в своих собственных произведениях.

Становится понятным тот факт, почему Аустриньш упоминает имя Мережковского в некоторых своих сочинениях. Переводные тексты создают то понятийное и индивидуальное пространство, которое формирует в сознании латышского писателя портрет и восприятие творчества Мережковского.

В статьях Людмилы Спроге, Веры Вавере, Алины Романовской [8; 9; 11] было отмечено, что Аустриньш в своих произведениях обращается к различным источникам, в том числе к русским символистам (В. Брюсову, Ф. Сологубу, А. Ремизову). Известны его прямые контакты с представителями русского модернистского течения. Здесь следует вспомнить его письмо Федору Сологубу от 10 января 1913 года, в котором Аустриньш просит ему разрешить перевод на латышский язык его «чарующей» драмы «Заложники жизни»¹⁰. Можно предположить, что подобные контакты были у Аустриньша и с Мережковским (хотя фактических доказательств пока нет, но стоит напомнить, что перевод «Петра и Алексея» определен как авторизованный).

⁹ Наиболее ярко это видно из переписки Д. Мережковского, З. Гишпиус и Б. Савинкова [3].

¹⁰ «Esmu iesācis tulkot Jūsu apburošo drāmu "Dzīves ķilnieki". Pazemīgi lūdzu Jūs atļaut man šo tulkojumu. Jūsu drāma ieies Anša Gulbja apgādātajā "Universālās bibliotēkas" ciklā, kura jau viena (1912) gada laikā ir sasniegusi 100. numuru" [11, l. 113] («Мною был начат перевод Вашей чарующей драмы "Заложники жизни". Покорно прошу Вас разрешить мне сделать этот перевод. Ваша драма войдет в состав цикла "Универсальная библиотека" Ансиса Гулбиса, которая в один год (1912) достигла количества в 100 номеров».)



В прозе самого Аустриньша имя Мережковского стоит в ряду других представителей Серебряного века, в частности в его автобиографическом романе-хронике «Долгая миля» («Gaŗā jūdze»)¹¹. Более того, в романе Мережковский упоминается как автор перевода трагедии Софокла «Антигона»¹².

В поэтическом творчестве Аустриньша имя Мережковского встречается в 1921 году в сборнике «Klusuma gaviles» / «Ликование тишины», который появляется после достаточно долгого перерыва (последний перед этим сборник стихов «Mākoņu gaita» / «Ход облаков» вышел в 1909 году). Он берет строки из поэмы Мережковского «Старинные октавы» в качестве эпиграфа к стихотворению «Tantals» («Ak kā es gribetu svēti-balts eet...») [5, l. 117] / «Зову на суд я жизнь мою и совесть» [1, с. 473], открывающему четвертый отдел сборника. Больше в «Ликовании тишины» нет ни одного эпиграфа. Следует отметить, что в предыдущих сборниках Аустриньша, особенно в сборнике «Vakar-diena» / «Вчерашний день»¹³, эпиграфы из русских авторов (Вл. Соловьева, В. Брюсова, С. Надсона) используются регулярно.

Эпиграф как рама всего произведения выполняет важную структурную функцию в этом стихотворении — роль цитаты-кода, с помощью которой выстраивается определенный регистр смыслов всего поэтического текста, происходит его символизация, он заключается в конкретный контекст. Строчка из Мережковского определяет содержание текста Аустриньша, подчиняет себе его развитие. К тому же необходимо учитывать, что цитата из Мережковского взята в оригинале,

¹¹ См.: «...Loks ar Bergājevu un Merežkovski. Atgādinot Stavroginu un Verchovenski Dostojevskā "Velnos"» [4, l. 65] («Локс познакомил меня с Бердяевым и Мережковским. Напоминают Ставрогина и Верховенского из романа Достоевского "Бесы"».)

¹² См.: «...Nosprieda iet rītvakar uz Sofokļa "Antigoni" <...> Aizbetnieks, priedamies, ka redzēs kaut ko no sēnas Grieķijas... <...> Aizbetnieks no sprieduma vēl atturējās, jo par šo izrādi avīzēs rakstīja, ka pie viņas sagatavošanas piedalījušies kā pats tulkotājs Merežkovskis, tā profesors Zeļinskis" [4, l. 84, 88] («Условились сходить завтра вечером на "Антигону" Софокла, обрадовавшись возможности увидеть древнегреческое... <...> Про эту премьеру писалось в газетах, что в ней примет участие как сам переводчик, Мережковский, так и профессор Зелинский».)

¹³ Например, раздел «Aprasojuši akmeni» открывается эпиграфом «И свой алтарь на камнях я построю» [6, l. 55] — строкой из стихотворения В. Брюсова «Скука жизни» (1902); раздел «Aiz sarkanās jūras» — строкой «И как среди песков степи безводной...» [Там же, l. 73] из стихотворения Вл. Соловьева «Уходишь ты, и сердце в час разлуки...» (1880); а стихотворение «Nāves rokas» раздела «Aiz sarkanās jūras» начинается эпиграфом «Мне больше некого любить...» [Там же, l. 77] — слова из стихотворения С. Надсона «Над свежей могилкой (Памяти Н. М. Д.)» (1879) и др.

она может быть рассмотрена в качестве варианта рецепции источника (текста Мережковского) в иной национальной среде. Здесь важным становится не столько использование «чужого слова», сколько фигура и личность самого автора. Можно предположить, что Аустриньш в какой-то мере отождествляет себя с Мережковским и его положением в начале 1920-х годов (напомним, что «Старинные октавы» носят автобиографический характер: «Бесхитростный дневник пишу, не повесть» [1, с. 473] — стих, предваряющий в «Старинных октавах» те слова, которые Аустриньш избирает в качестве эпиграфа к своему стихотворению; самохарактеристика жанра коррелирует с содержанием текста латышского поэта).

Ak kā es gribetu svēti-balts eet.
Būt daiļš kā Apollons, labs.
Man baltas drānas uzgērbeet —
Stāvu kā moku stabs.

Uz galvas aklas pūces sēd.
Šalc vaimanu pilnais mežs.
Melns sunis pļavā zāli ēd.
Pats sev un citeem es svešs... [5, l. 117].

Принцип проекции ряда символов на жизнь героя, антогонизм языческих и библейских образов (Аполлон — Каин, белые одежды, слепые совы) создают практику обретения смысла через ряд коннотаций, свойственных культуре символизма в целом. С помощью цитатного регистра Аустриньш изображает жизнь своего героя, придавая ему черты автобиографизма, одновременно опираясь на художественную систему, которая предлагается Мережковским благодаря посредничеству стиха из его поэмы.

Семантически близки стихотворению Аустриньша также строки из поэмы Мережковского «Безобразье вечное людей / Всегда рождает скорби и злость в душе» [1, с. 523] — тема органического отчуждения от людей (еще одно стихотворение Мережковского «И хочу, но не в силах любить я людей» (1887) [Там же, с. 130–131]). Или: «Критики на поле брани ждут / Как вороны, добычи для злословья» [Там же, с. 472], ср. у Аустриньша: «Veras logi — kraukļi skreen acīs knābt»¹⁴ [5, с. 117]. Аустриньш в какой-то мере перерабатывает некоторые мотивы из поэмы Мережковского. «Чужой» становится генератором авторской рефлексии; ср.: «Es nevaru, brāļi, būt vairs labs»¹⁵ [Там же, l. 117]) у

¹⁴ «Открываются окна — вороны бегут выклевать глаза.»

¹⁵ «Я не могу, братья, боле быть хорошим.»



Аустриньша и «Пленяет человека зло» [1, с. 511], «Запретный плод прельщал меня невольно» [Там же, с. 511] у Мережковского.

Обращает на себя внимание и тот факт, что Мережковский начинает писать «Старинные октавы» в середине 1890-х годов — во время своей работы над романом «Смерть богов. Юлиан Отступник». Опубликована же поэма была в 1906 году — незадолго перед публикацией первого романа трилогии на латышском языке в переводе Аустриньша. Таким образом, переводы Аустриньша, сделанные в это время, соотносимы с рецепцией Мережковского в инациональной культурной среде и фиксируют рефлексию по поводу русского писателя и его творчества.

Список литературы

1. Мережковский Д. Собр. стихотворений. СПб., 2000.
2. Минералов Ю. Основные разновидности контактов // Минералов Ю. Сравнительное литературоведение. М., 2010.
3. Революционное христовство : письма Мережковских к Борису Савинкову. СПб., 2009.
4. *Austriņš A. Garā jūdze: romāns-hronika* 4. gr.: 2. sēj. Mineapole, 1973—1975.
5. *Austriņš A. Taltals* // *Ausriņš A. Klusuma gaviles: dzejas*. Rīga, 1921.
6. *Austriņš A. Vakardiena*, Rīga, 1907.
7. *Eldgasts H. Priekšvārds* // *Merežkovskis D. Julians Atkritējs (Dievu nāve)*. Rīga, 1927.
8. *Ikviens mēs zvaigzņi sevī nesam: Antons Austriņš-pazīstamais un nezināmais: rakstu krājums (sastādītāja Alīna Romanovska)*. Rīga, 2006.
9. *Romanovska A. Antona Austriņa proza Eiropas literārajā telpā*. Daugavpils, 2006.
10. *Rozentāls A. Pēteris un Aleksejs* // *Latvija*. 1910. №215.
11. *Sproģe L., Vavere L. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras «sudraba laikmets»*. Rīga, 2002.

Andrej Gordin

ANTONS AUSTRINŠ AS A TRANSLATOR OF DMITRY MEREZHKOVSKY

The translations of D. Merezhkovsky's works into the Latoian language by A. Austriņš help analyse the receptions of Russian symbolism in the Latoian culture of the 19th-20th centuries. The author suggests that A. Austriņš's decision to translate D. Merezhkovsky texts was affected by the historical background of the 1910s – the formation of national ideas in the regions of the Russian empire, the search for peoples' self-identity, and the 1905 revolution as a major historical event. Austriņš's translations are comparable to the reception of Merezhkovsky in the national cultural environment and demonstrate the reflection on the works of the Russian author.

Key words: literary translation, modernism, symbolism, Latvian literature.

Светлана Погодина
(Рига, Латвия)

ОБРАЗ КУКЛЫ В ЛАТЫШСКИХ И РУССКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ: АСПЕКТ РИТУАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Предложен сопоставительный анализ образа куклы в русской и латышской фольклорных традициях, изучаются вопросы диалога национальных культур. Констатируется присутствие образа в русских и латышских фольклорных текстах, сравниваются его функциональные особенности. Основное различие репрезентации образа куклы в аспекте русско-латышских связей определяется тем, что в русских текстах традиционной культуры кукла представляется живым объектом, в то время как в латышских – кукла относится к области имитативной магии.

Ключевые слова: фольклор, этнография, ритуал, обряд, символ.



Кукла входит в повседневные практики как традиционной, так и современной культур где в первую очередь очерчивается игровой аспект функционирования этого антропоморфного объекта¹. Но другое, не менее распространенное исполь-

¹ В авторитетном американском словаре терминов фольклора «Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend» фиксируется следующая трактовка номинации *кукла* (*doll*) на материале опыта мировой культуры: «Doll. A small figure made from various materials to resemble a baby, boy, girl, man, woman; often for a child to play with, but used in many cultures for various other purposes» / «Кукла. Маленькая фигурка из различных материалов, изображающая ребенка, мальчика, девочку, мужчину, женщину; часто



зование куклы определяется ритуальным опытом обережной магии, когда кукла становится символической заменой ее обладателя: «To deceive witches or fairies, a doll is often put in the cradle so that no changing may be foisted on the parents» [15, p. 320]². Распространенный мотив куклы как оберега, куклы как символического двойника человека, известный многим народам, находит отражение и в традиционных текстах латышского фольклора, а также коррелирует с репрезентацией образа куклы в корпусе русского фольклора.

Значимость куклы для традиционной народной культуры подтверждается ее присутствием во многих обрядовых практиках так называемого переходного типа: Рождества, Масленицы, свадьбы, похорон и т.д. [22, с. 191]. Многочисленные этнографические исследования, посвященные национальным куклам, также дают материал для наблюдений в смежных областях фольклористики и культурной антропологии. Но образ куклы в текстах традиционной культуры, в пространстве фольклорных жанров до сих пор остается недостаточно от-refлексированным, несмотря на то что данная исследовательская линия видится вполне с перспективной научной точки зрения. Одной из возможных причин подобной незаинтересованности исследователей традиционного фольклора в вербальной репрезентации куклы может быть отсутствие богатого (на первый взгляд) материала, низкая частотность фигурирования рассматриваемого образа в фольклорных текстах по сравнению с тем, что дают наблюдения, к примеру, в области этнографии.

Для данной статьи исследовательскими ориентирами станут несколько русских и латышских фольклорных текстов традиционной культуры, объединенных, во-первых, образом куклы (в латышском варианте — *lelle*) и, во-вторых, жанром (волшебная сказка согласно классификации текстов). Кроме того, ряд ценных наблюдений дает обращение к содержанию колыбельных песен из корпуса латышского фольклора, рассмотренных через этимологию латышской номинации *lelle*.

Так, в сборнике «Latviešu pasaku tipu rādītājs» («Указатель типов латышских сказок»), составленном К. Арайсом (K. Arājs) и А. Медне (A. Medne), зарегистрирован лишь один сюжет (№311), где упомина-

применяемая для детских игр, но также используемая в различных культурах и для иных целей» [15, S. 320] (здесь и далее перевод наш. — С.П.).

² «Для того чтобы обмануть ведьм или фей, куклу клали в колыбель, чтобы родителям не могли подкинуть ребенка.»



ется кукла [14]³. В тексте этой волшебной сказки фигурирует образ самодельной куклы-двойника (или антропоморфного кустарного предмета), замещающей главную героиню и помогающий ей тем самым перехитрить черта / мужа и избежать смерти. В национальной фольклорной поэзии, в текстах латышских дайн (поэтические четверостишия), хранящихся в архиве латышского фольклора, образ куклы нами зафиксирован лишь в двух текстах (№2087 и 2085) [21], относящихся к жанру колыбельной песни. Это позволяет выдвинуть предположение, что кукла «становится интересна» повседневной традиционной культуре Латвии лишь с развитием новых фольклорных практик, под влиянием западной массовой культуры и развивающегося фольклора города. Именно варианты сюжета №311, содержащиеся в Архиве латышского фольклора (*Latviešu folkloras krātuve*) и в сборнике фольклора Петера Шмита (*P. Šmits*) [20], а также тексты дайн станут одним из предметов дискуссии в контексте обсуждаемых латышско-русских (и шире — балтославянских) связей. «С русской стороны» нами были отобраны четыре текста, относящиеся к жанру волшебной сказки. В сборниках серии «Библиотека русского фольклора» зафиксировано два текста, где фигурирует образ куклы: это в первую очередь широко известная сказка «Василиса Прекрасная», в сборнике А.Н. Афанасьева стоящая под №104, и сказка «Горюшко» — №122. Исследователь И. Морозов добавляет в этот ряд еще несколько текстов, которые будут рассмотрены ниже. Образ куклы отражен в текстах традиционной культуры как латышского, так и русского фольклорного пространства. Скупость текстов (в количественном плане) не снижает значимости этого образа в широкой парадигме традиционной культуры, а сравнительно-сопоставительный анализ ее репрезентации в русских и латышских текстах традиционной культуры позволит акцентировать аспектуальные особенности функционирования этого объекта культуры в различных ритуально-игровых дискурсах.

Записи вариантов сказочного сюжета №311 из сборника Арайса и Медне, находящиеся в нашем распоряжении, в основном сделаны в первой половине XX века (в 20-е и 30-е годы). Вариативность и распространенность данного сказочного сюжета высока, на что указывает список зафиксированных текстов, но основной каркас текста представляет собой следующий нарратив:

³ «Черт-жених» (А. Волшебные сказки / Сверхъестественные противники (300–398)).



Velns zaķa (kaķa) veidā (burvis, lācis) aiznes (aizprecē, aizvilina) pie sevis trīs meitas. Viņam jāglabā pie sevis ola (ābols, atslēga), un tās nedrīkst iet aizliegtajā istabā. Divas meitas ieiet un notraipa olu, velns nocērt tām galvu. Trešā meita olu labi paglabā, atrod nokautās māsas, atdzīvina, ieliek kastē pati un savā vietā gultā (uz jumta) noliek lelli. Tiklīdz velns apstājas un grib paskatīties kas kastē, meita it kā no mājas brīdina pasteigties. Tā velns aiznes visas meitas atpakaļ [14, с. 47–48]⁴.

Кукла становится одной из ключевых фигур развития рассматриваемого сюжета, но восприятие и рецепция этого одновременно символического и бытового предмета различно — и функционально, и интонационно. Не все предметы освоенного человеком пространства вовлекаются в систему символов и обрядности [5, с. 6], и включение куклы в эту ритуальную / символическую парадигму сопряжено с мировоззренческими особенностями конкретной культуры.

В лингвокультурном латышском узусе кукла фиксируется в семантическом пространстве детских игр, детства как такового, этимологически коррелируя с восточнославянским словом *лялька*⁵ в значении «новорожденный, некрещеный ребенок»⁶. Таким образом, вокруг латышской номинации *lelle* семантически развивается смысловая цепочка, где основной координатой выступают понятия (некрещеный) *ребенок*, *младенец*, и это подтверждается корпусом латышского фольклора (народными песнями / *tautasdziesmas*), где слово *кукла* фигурирует в значении — *mazs bērns, zīdāinis līdz kristībām* (маленький ребенок, младенец до крещения) [18]. Этот смысловой аспект номинации закрепляется и подтверждается образом куклы в латышских дайнах. Симптоматично, что образ куклы появляется в поэтических текстах жанра колыбельной песни, отсылая к элементам обережной магии, связанным с дискурсом детского пространства:

⁴ «Черт в образе зайца (кошки, волшебника, медведя) уносит (женится, похищает) к себе трех сестер. Им надо хранить при себе яйцо (яблоко, ключ) и запрещено заходить в запретную комнату. Две девушки зашли туда и испачкали яйцо, черт отрубил им головы. Третья — яйцо сохранила, нашла убитых сестер, оживила, сама залезла в ящик (коробку), а в свою постель (на крышу) уложила (установила) куклу. Как только черт хотел остановиться и посмотреть, что в коробке, девушка как будто из дома предупредила его поостеречься. Таким образом, черт отнес всех трех дочерей домой.»

⁵ Отсюда типология создания кукол-лялек в образе спеленатых младенцев.

⁶ «...lelle; lš. lele, lele, bkr. ляля "lelle, bērniņš". Pamatā mazbērnū runā atkārtotā zilbe le, no kā arī la. Арв. Lelot, lellot "aijāt": "Aijājies, lellojies, Mans mazais bāleliņ" (LD 1897 var.), lēlot "aijāt, apmīlot": "Viņš mūs kā ganiņš lēlojs, Nedz bārgi nosodijs". No *lele ar ekspresīvu otrā plūdeņa garinājumu lelle» [17, l. 514].



Žužu, žužu, lāča lelle,
Kas tev kāra šūpulis?
Man uzkāra tēvs māmiņa
Priežu balku istabā [21, №2087]

и

Žù, žù, lāča lelle,
Basajām kājiņām,
Ne tev tēvs auklas vij,
Ne māmiņa vīzes pin [21, №2085]⁷.

Подобное семантическое сближение двух номинаций (кукла – ребенок) подтверждается логической заменой слова *кукла* (*lelle*) на *ребенок* (*bērns*), наблюдаемой в некоторых колыбельных песнях (*lolojamās vai šūpuļa dziesmas*), к примеру:

Aija, aija, lāča bērns,
Kārkli kāra šūpolītes,
Atnāks lapsa, paņems bērnu
Ar visām šūpolēm [21, №2046]⁸.

При этом фиксация в латышском узусе номинации *куклы* в семантическом поле *ребенок, младенец* продолжается и в постфольклорном пространстве: так, в словаре современного латышского диалектного языка «*Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene*» (Словарь неакадемического латышского языка, или Диалектный словарь) зарегистрировано существование в узусе словосочетания *lelles kāja* (*нога куклы* – дословный перевод), используемого в устойчивом выражении «*iet uz lelles kāju*»⁹, что дословно можно перевести как «идти на ку-

⁷ «Жу-жу, жу-жу, кукла медвежонка, / Кто тебе качает колыбель? / Ее повесили батюшка, матушка, / В основной комнате»; «Жу-жу, жу-жу, кукла медвежонка, / Босыми ножками, / Не батюшка тебе бечевку вьет, / Не матушка лапоть плетет.»

⁸ «Жу-жу, жу-жу, ребенок медвежонка, / в вербе повесил качели, / придет лиса, заберет ребенка / со всеми качелями.»

⁹ «*Lelles kāja* – parasti izteicienā "iet uz lelles kāju", kas nozīmē – ietraudzības, arī krustībās, arī rādīnēs iet. – "Rādīnēs iet, tas jau tas pats, kas uz lelles kāju iet" (Ķērsta Balčus, Kurzeme, 2003); Kad piedzimis bērns, tad iet uz lelles kāju. Jaunpiedzimušais bērns ir tā lelle. Tā ir vecu laiku teika, tagad saka, ka jāiet ciemos. Kad iet uz lelles kāju, dzied "Aijā žūžū, lāča lelle" (Anna Šmite, Kurzeme, 2003). Lellīte piedzimuši, liela nav, lellīte vien ir, tāpēc tā sauc. Ka meitene, tad nedrīkst iet bez lakatiņa, ka puika, bez cepures. Nedrīkst iet uz lelles kāju tukšām rokām (Zelma Atte, Kurzeme, 2007)» [18, l. 170 – 171].



кольных ногах». В русском узусе это выражение семантически транслируется как «идти навестить новорожденного», и обстоятельная статья Бениты Лаумане (Benita Laumane), посвященная анализу этого диалектного фразеологизма [22], раскрывает общую семантику и тематику фразеологизма на примере балтославянских языков. Автор закономерно приходит к выводу, что родственное общее значение латышской (*lelle*) и литовской (*lele*) номинации «младенец, маленький, некрещеный ребенок» более древнее в сравнении со значением куклы как игрушки. Подобная позиция наблюдается и в славянских языках [22, л. 296].

Таким образом, в упомянутых колыбельных песнях отражается семантика восприятия номинации *куклы* в латышском узусе как традиционной, так и современной культуры, которая пресекается в аспекте синонимичного сближения номинаций *кукла* и *ребенок / младенец* (что принципиально — некрещеного). Устойчивость этого восприятия подтверждается неутраченной традицией (зафиксирована в Курземе) петь колыбельную *Aija, aija, lāča bērns*, когда идут в гости навестить новорожденного [18, л. 170–171].

Совсем иная репрезентация образа куклы дается в жанре волшебной сказки из корпуса латышского фольклора, и здесь ключевым мотивом становится имитативная магия — кукла в текстах сказочного сюжета №311 фигурирует как символический заместитель человека. Практика *замещения* является наиболее распространенной в обрядовых ситуациях с участием куклы [8, с. 117], которые завершаются, как правило, умерщвлением обрядового персонажа, его ритуальной казнью или изгнанием. Вариативность рассматриваемого сюжета позволяет зафиксировать несколько традиций, связанных с восприятием куклы в фольклорном пространстве балтославянского дискурса. В текстах сказки, как правило, акцентируется внимание на материале изготовления куклы, и здесь типология создания куклы-двойника весьма разнообразна. На примере рассмотренных текстов можно выделить несколько «типов» кукол: куклы из сахара (*cukura lelle*) или хлеба / муки — «съестные»; из соломы, веток; из ткани (мешка); из воска. В этом типологическом ряду выделяется запись, сделанная в Латгалии (г. Дагда) в 1928 году:

Maita paprīkšu nūbrauc da gorodam un nūgojus da todam fabrikam kur taisa wysaidus cylvāka tālus un lik iztaiseit vaidu figuru, ka byutu toda vys leidza, ko jej poša. Strodņiki apsajamās un iztaisa tōdu tālu nu gumeliasta (gumijas) ko reize ko jej poša [19, №581, 85]¹⁰.

¹⁰ «Девушка поехала в город, пошла на фабрику, где делают различные изображения людей, и попросила сделать такую фигуру, которая бы походила на нее. Работники согласились и сделали фигурку из резины, похожую на нее.»



Очевидное влияние городской культуры «урбанизировало» вышеприведенный текст, автор которого детально описывает ситуацию, когда на фабрике рабочие изготавливают человеческую фигуру из резины (*nu gumeliasta*) – точную копию героини. Наиболее частотным с типологической точки зрения вариантом становится кукла, сделанная из сахара или хлеба, к примеру:

Kad lācis taisījies kasti nest, viņa gultā sava vietā ielikusi čukurgalvu un tālāk salikusi drēbes. Lācis nobučojis cukurgalvu un teicis: «Sieviņ, cik tev salda mutīte!»... Atnācis nu un skūpstījis sievu un skūpstījis, kamēr visu cukuru izkūpstījis» [19, №450, 1034]¹¹;

Viņa uztaisījuse cukura lelli un ielikuse gultā. Pate ielīduse kastē... atradis savu sievu guļot. Viņš piegājis klāt. Sācis skūpstīt. Skūpstījis kamēr izkususe. Nu velns redzējis kā piemānīts [19, №1127, 1595]¹²;

Viņa saēdina puisi, tas guļ. Pa to laiku viņa izcep no saldās mīklas sievieti un noliek savā gultā. Puisim viņa saka, viņa esot slima un iešot gulēt... Puisis aiziet mājās un redz gultā sievu. Sāk to bučot un mīlēt, un viņa ir pavisam salda. Puisis tikmēr viņu laiza, kamēr salaiza. Beiga vēl noteicis: – Lai sieviņ, kur sieviņ, bet tad salda! [19, №450, 1718]¹³.

Практика создания символической куклы-двойника из хлеба или сахара с последующим ее поеданием соотносится, на наш взгляд, с рядом ритуальных практик балтославянского дискурса. Этимологическая близость номинаций *кукла* и *младенец* в балтославянском пространстве наводит на мысль о том, что упомянутый мотив поедания куклы из хлеба соотносится с известным родинным обрядом. Хлеб занимает главное место в родинной южнославянской обрядности [9, с. 63], и случаи уподобления обрядового хлеба новорожденному за-

¹¹ «Когда медведь собрался нести коробку, она [главная героиня] в постель на свое место уложила голову из сахара и укрыла ее одеждой. Медведь поцеловал сахарную голову и сказал: "Женушка, какой сладкий у тебя ротик!"... Вернулся [медведь] и давай целовать жену, и целовал, пока весь сахар не растаял.»

¹² «Она сделала куклу из сахара и уложила ее в постель. Сама залезла в коробку... нашел свою жену спящей. Он прилег рядом. Начал целовать. Целовал, пока она [кукла] не растаяла. Ну тогда черт увидел, что обманут.»

¹³ «Она [главная героиня] накормила парня, он лег спать. За это время она испекла из сладкой муки женщину и положила в свою постель. Парню сказала, что больна и пойдет в постель... Парень вернулся домой и видит в постели жену. Начал ее целовать и любить, и она совсем сладкая. Парень ее облизывал, пока совсем не слизал. В конце еще сказал: "Ах, женушка, где женушка, но такая сладкая!"»



фиксированы, к примеру, в практике имитативной магии Пиринского края (Болгария) [6, с. 384]. Частотным мотивом в рассматриваемых текстах становится акцентация на *сладости* изготовляемой съедобной сахарной или хлебной куклы, что частично коррелирует с ритуальной практикой первого родинного хлеба, с которой связаны такие «обрядовые действия, как окуривание его ладаном, смазывание медом, растопленным сахаром и надкусывание» [9, с. 65]. Таким образом, в изготовлении символической куклы из хлеба-сахара видится важная «полисемия и полифункциональность хлеба в соответствии с его общеславянским культом» [11, с. 10], в которой латентно присутствует отсылка к этимологической стороне номинации (кукла / *lelle* — новорожденный ребенок) в балтославянском пространстве, также значимой и для латышской традиционной культуры¹⁴.

В качестве двойника человека выступает кукла и в текстах русского традиционного фольклора. В сказке «Василиса Прекрасная» мать, умирая, дарит своей дочери куклу:

Когда мать скончалась, дочери было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка!.. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью» [4, с. 317].

Здесь кукла выступает в образе волшебной помощницы, будучи наделенной обережной функцией, — это одно из частотных качеств куклы в традиционной культуре [8, с. 117]. В. Пропп, анализируя генезис и структуру волшебной сказки, отмечает присутствие в ней образа куклы, которую вписывает в пограничное пространство между образом волшебного помощника и волшебным предметом [10, с. 169]. Исследователь ссылается на сказку «Василиса Прекрасная» из афанасьевского сборника [2], но в отличие от его издателей М. Азадовского, Н. Андреева и Ю. Соколова, не усматривающих фольклорного генезиса в образе куклы — волшебной помощницы на том основании, что они не нашли его аналогий в фольклоре, правомерно указывает на «кукольные» мотивы и в других волшебных сказках. Так, в сказке «Грязнавка» есть куколки, к которым обращаются с той же формулой, что и у Афанасьева: «Вы, кукалки, кушайте, мое горе слушайте». В. Пропп продолжает этот ряд примером из северной сказки: «"У меня

¹⁴ Неслучайна здесь традиция «лепки» новорожденного, придания ему формы в рамках родинной обрядности (см.: [3]).



в сундуке есть цетыре куколки, как че надо, они тебе помогут", — говорит мать перед смертью своей дочери» [10, с. 169]. В упомянутых текстах, как видно, прослеживается мотив необходимости покормить куклу, для того чтобы она дала совет или помогла героине избежать опасности / пройти испытание, который, безусловно, отсылает к древним обычаям ритуального создания антропоморфного изображения («деревянного болвана» или куклы) в память умершего члена семьи. Такой кукле подносили еду, ухаживали за ней, как за живой, спрашивали совета — подобные ритуальные практики обнаруживаются у многих народов Европы и Сибири [7, с. 137], а также фиксируются в этнографических исследованиях африканских племен [23, с. 63], в обычаях Новой Гвинеи [16, с. 53–54]. В целом традиция изготовления кукол в рамках похоронно-поминальной обрядности чаще всего встречается у народов Крайнего Севера и Сибири, которым присущи представления о посмертных инкарнациях человеческой души и ее земном и потустороннем существовании [1, с. 253–269; 12; 13, с. 117–152]. У хантов, к примеру, вплоть до последнего времени существовала традиция делать так называемых «кукол покойника», «вместилищ души покойного» — *иттарма*, *сонгет*, *акань*, *мохар*. Это небольшая по размерам кукла (до 25 см), хотя раньше были и ростовые куклы, на которых надевали одежду умершего [8, с. 137]. К более древним практикам подобного ритуального изображения умерших членов семьи В. Пропп относит древнеегипетскую традицию изготовления антропоморфных или зооморфных статуэток ушебти [8, с. 170]. Таким образом, опыт создания куколок (антропоморфных фигурок) в рамках похоронно-поминальной обрядности отражается в текстах русских сказок, где кукла выступает как элемент обережной магии. Но, возвращаясь к тексту «Василисы Прекрасной», отметим, что сказка оканчивается примечательной фразой: «Старушку Василиса взяла к себе, а куколку до конца жизни своей всегда носила в кармане» [4, с. 324]. Мотив «кукла в кармане», на наш взгляд, сопоставима с семантикой свадебных обрядовых практик, до сих пор бытующих в традиционной культуре славянского пространства:

Так, в Шацком р-не Рязанской обл. был известен обычай дарить стряпухе «карман» с куклой. Куколка использовалась при шуточной пляске стряпухи и в некоторых случаях отождествлялась с ней самой или невестой... Старая обрядовая символика такой детали женской одежды, как «карман», могла, по-видимому, вызывать ассоциации с женским органом [8, с. 133].



В сказке «Горюшко»¹⁵ образ куклы возникает в преломлении семантического поля праздников «переходного» типа — свадьбы и похорон: свершившаяся свадьба с ложной невестой продолжается приготовлениями к похоронному пиру:

«Иван-царевич, — говорит, — привези мне золотую куколку да булатный ножичек». А он думает: «Не привезу ей. Куда ей с куколкой да булатным ножичком!» Да однажды и привез. Заранее и сказал. А она у себя в горнице намыла, настряпала да пир приготовила. Он привез куколку, отдал, а сам край дверей стал и слушает, что она с куколкой заведет. Она куколку за стол посадила, угостила и давай ей свою судьбу рассказывать. Словно причитывает:

Ой ты, куколка, да ты родимая,
Ай, стряслось со мной да горе лютое... [4, с. 325].

В этом тексте кукла на первый взгляд не наделяется символикой похоронно-поминальной обрядности, не позиционируется как оберег, но эти утраченные функции образа латентно все равно присутствуют в ткани повествования. Кукла появляется в конце повествования, становясь катализатором счастливого разрешения сюжета: героиня, накормив куколку, рассказывает ей свое горе, ее рассказ слышит Иван-царевич, в итоге ложная невеста разоблачена, истинная — получает в качестве награды Ивана-царевича. Можно предположить, что и здесь кукла выступает в качестве антропоморфной фигуры умершего предка (ритуальное отношение героини к куколке), чье присутствие помогает главной героине.

Наконец, отражение символической семантики и ритуальных функций куклы обнаруживаются еще в одном тексте из корпуса русского фольклора — это сказка «Князь Данила-Говорила»¹⁶. В ней четыре куклки, рассаженные девушкой по углам в темной комнате, помогают ей избежать инцеста с братом. После произнесенных ими заклинаний девушка проваливается, а куклки отвечают последовательно за нее ее же голосом. Девушка, в свою очередь, оказывается в доме злой колдуньи, чья дочь как две капли воды похожа на героиню. Избавившись от ведьмы, обе героини возвращаются в дом князя Данилы, и он женится на девушке-двойнике своей сестры. Следовательно, здесь куклы выступают в роли волшебных помощников и заместителей героини.

¹⁵ Текст «Горюшко» записан в д. Дерегузово Заонежского р-на Карельской АССР в 1926–1929 годах.

¹⁶ В сборнике А. Н. Афанасьева №114 (АТ 313 Е* + 327 А + 313 Н*) [2, с. 319].



Таким образом, на основе пунктирного анализа образа куклы в русских и латышских текстах из корпуса традиционной культуры в свете ритуальных практик, присущих этому антропоморфному предмету, можно утверждать о присутствии образа куклы в текстах как латышского, так и русского фольклора. Их функциональные особенности сводятся к замещению; в русских текстах волшебной сказки чаще всего кукла становится волшебным помощником. В этом видится основное различие репрезентации образа куклы в аспекте русско-латышских связей — в рассмотренных русских текстах традиционной культуры кукла — *живой* объект, в то время как латышская кукла — из области имитативной магии, ее рецепция не наделяется магическими коннотациями.

Список литературы

1. Анохин А. В. Душа и ее свойства по представлениям телеутов // Сборник музея антропологии и этнографии. Л., 1929. Т. 8.
2. Афанасьев А. Н. Русские народные сказки. М., 1985.
3. Байбурин А. Ритуал в традиционной культуре. М., 1993.
4. Сказки. М., 1988. Кн. 1.
5. Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Символический язык вещей: веник (метла) в славянских обрядах и верованиях // Символический язык традиционной культуры. М., 1993.
6. Дражева Р., Георгиева И. Семейни обичаи // Пирински край. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1980.
7. Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. М., 1936.
8. Морозов И. А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (кросс-культурное исследование идеологии антропоморфизма). М., 2011.
9. Панкова В. Ю. Терминология и ритуальные функции хлеба в южнославянских родинных обрядах // Символический язык традиционной культуры (Балканские чтения II). М., 1993.
10. Пропи В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2000.
11. Седакова И. А. Ритуальный хлеб в родильной обрядности болгар // Славянский и балканский фольклор. М., 1993.
12. Функ Д. А. Миры шаманов-сказителей: комплексное исследование телеутских и шорских материалов. М., 2005.
13. Чернецов В. Н. Представления о душе у обских народов // Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. М., 1959.
14. Arāš K., Medne A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. Rīga, 1977.
15. Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. N. Y., 1949. Vol. 1.



16. Frazer J.G. The golden bough. Taboo and the perils of the soul. L., 1911.
17. Karulis K. Latviešu etimologijas vārdnīca divos sejumos. Rīga, 1992. Sej. I.
18. Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca, jeb novadu Vārdene. Rīgā, 2007.
19. Latviešu folkloras krātuve (Хранилище латышского фольклора, рукописный отдел).
20. Latviešu Pasakas un teikas. URL: <http://valoda.ailab.lv/folklor/pasakas/> (дата обращения: 15.10.2012).
21. Latviešu Tautas Dziesmas (Latvian Dainas). URL: <http://www.dainuskapis.lv/meklet/lelle> (дата обращения: 15.10.2012).
22. Laumane B. Latviešu izlokšņu frazeologisms *iet uz lelles kāju* // Baltistica. 2002. Т. 37, №2.
23. Meinhof C. Die Religion der Afrikaner in Ihrem Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben. Oslo, 1926.

S. Pogodina

THE IMAGE OF A DOLL IN LATVIAN AND RUSSIAN TRADITIONAL FOLKLORE TEXTS: THE ASPECT OF RITUAL PRACTICES

This article offers a comparative analysis of the image of a doll in the Russian and Latvian folklore traditions and examines the dialogue between the national cultures. The author emphasise the presence of the image in Russian and Latvian folklore texts and compares its functional features. The major difference in representing the image of a doll in the aspect of Russian-Latvian connections is that, in Russian texts, a doll is traditionally presented as a living object, whereas, in Latvian ones, it belongs to the area of imitative magic.

Key words: *folklore, ethnography, ritual, rite, symbol.*

**ДОКУМЕНТЫ
ВРЕМЕНИ**



При образовании Калининградской области на нее были полностью перенесены советские практики централизованного планирования, социалистического хозяйствования и задач административного управления территорией. При встрече с плотной сеткой городских поселений бывшей Восточной Пруссии советские градостроители ставили исторический малый город на разное функциональное место.

Олег Васютин, Александр Попадин

*Олег Васютин, Александр Попадин
(Калининград)*

ГОРОДСКОЙ ПАЛИМПСЕСТ: ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (1945—1990 ГОДЫ)

Исследуется адаптация исторически сформированной восточнопрусской системы расселения под новые цели и функции при образовании Калининградской области. Дан обзор основных тенденций градостроения в период становления и развития региона в «сталинскую» (частичное восстановление и приспособление существующей застройки с минимальными инфраструктурными преобразованиями городов и поселков), «хрущевскую» (становление новых проектно-строительных технологий и типовых стандартов «советского модернизма») и «брежневскую» (рост городов, комплексность освоения территорий, обновление репрезентативных и центральных городских мест) эпохи.

Ключевые слова: архитектура, градостроительство, город, сохранение культурного наследия.

С приходом в Калининградскую область советской власти перед последней встали задачи как оперативного управления новой советской территорией, так и длительного планирования ее жизни. Обе задачи были связаны с размещением и развитием на территории производительных сил социалистического хозяйства и заселением области переселенцами из СССР, что требовало привести веками сложившуюся в бывшей Восточной Пруссии





систему расселения к привычной для советской управленческой школы типологизации городов и населенных пунктов. Этот процесс определялся рядом параметров: степенью разрушения городов в ходе военных действий, наличием хозяйственной инфраструктуры на местах, изменениями межрегиональных связей территории в результате установления новых границ, стратегическими планами руководства страны по размещению на территории области крупных военных объектов и производственных единиц (заводов, фабрик). Из этих планов следовало исчисление количества и качества трудового населения, которому и предстояло жить в населенных пунктах и городах.

Город в двух исторических контекстах

Города в освоении земельных пространств играют роль «опорного каркаса расселения», являясь центрами развития и обслуживания для близлежащих территорий. Крайне важна транспортная доступность городов и густота их сети. Особенностью городской агломерации Советского Союза, унаследованной от царской России, была ее неоднородность: в европейской части расположено 77 % всех городов страны, причем среднее расстояние между ними составляет около 70 км¹, в восточных же районах России оно превышает 225 км: в наиболее освоенной южной зоне Западной Сибири — 114 км, а на обширном Дальнем Востоке — 300 км.

Следует отметить, что в отличие от немецкой и — шире — европейской типологизации городов в СССР была выстроена своя шкала населенных пунктов в соответствии с их численностью и типом вовлеченности в хозяйственный оборот. В ней под понятием «город», имеющим формально ту же основу, что и английское «сити» и немецкое «бург», исторически подразумевалось нечто иное и действовала иная размерность минимальной численности населения города. Если в Дании был возможен город в 250 человек, а в Восточной Пруссии обычными были города с населением в 3–5 тыс. человек, то в СССР в 1950-е годы малыми считались города в 10–20 тыс. жителей, а к 80-м годам XX века эта цифра «доросла» уже до 50 тыс., что являлось условным стандартом для небольшого города в Советском Союзе².

¹ Для сравнения: в Западной Европе этот показатель составляет 20–30 км.

² По числу жителей советские города разделялись на крупные (от 30 до 100 тыс. жителей), средние (от 10 до 30 тыс.) и малые (менее 10 тыс. человек). В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 сентября 1957 года к категории городов и рабочих поселков относились населенные



Послевоенная разруха и общие хозяйственные трудности по всей стране не позволяли в короткий срок заселить всю Калининградскую область новыми жителями, и после депортации немецкого населения в послевоенные годы произошел демографический слом. Кроме того, плотность городов в бывшей Восточной Пруссии была с точки зрения советской градостроительной практики неоправданно высокой. Все эти обстоятельства привели к тому, что количество населенных пунктов Калининградской области по сравнению с Кёнигсбергской существенно уменьшилось³. Это произошло в результате потери многими городами своего статуса и превращения их в поселки. Так, Корнево и Славское (ранее Цинтен и Кройцбург) утратили городской статус из-за сильного разрушения во время военных действий, Домново и Железнодорожный — вследствие «истончения» хозяйственного каркаса в районе этих населенных пунктов. Некоторые города и поселки (например, Ширвиндт и Гросс-Клингбек) пришли в запустение и постепенно исчезли с карт.

На снижение административного статуса повлияла и разница в понимании самой категории «город». В Европе это было компактное поселение с исторически закрепленным набором прав, самоуправлением, своим образом жизни (в том числе на уровне ремесленных цехов-корпораций), с наличием высокого уровня инфраструктуры и благоустройства среды. Известно, что в Даркемене (сейчас Озерск) был установлен первый в Европе электрический фонарь, а в Инстербурге (сейчас Черняховск) пущен первый городской троллейбус. В России же города традиционно не имели развитого самоуправления, а такой тип, как «вольный город», не существовал в принципе (если не считать таковыми Новгород и Псков времен Ганзейского союза).

Пусть слабо развитую, но всё же существовавшую российскую традицию городских самоуправлений в СССР заменили новой концепцией населенных пунктов — соцгородов и рабочих соцпоселков. Они стали элементами совершенно иной градостроительной теории и практики в истории мирового градоформирования, и возникали по правилам

пункты, являвшиеся промышленными и культурными центрами с населением не менее 12 тыс. (города) и 3 тыс. человек (рабочие поселки), при условии, что 85 % жителей — это рабочие и служащие, т.е. заняты в сфере несельскохозяйственного производства.

³ По сути, оно было приведено к градостроительному стандарту европейской части СССР. При этом в первые 20 послевоенных лет (что составляло горизонт планирования областных властей в начале 1950-х годов) плотность населения Калининградской области была в два раза ниже плотности населения этой части Восточной Пруссии в 30-е годы XX века.



административно-партийного управления территориями и по законам искусственно формируемых контингентов населения (определенных по количеству и квалификационному составу). Советская теория градостроительства исходила из рассмотрения соцгородов как пролетарских «ядер» промышленных районов, создаваемых «на пустом месте». С помощью размещения в них контингентов силовых структур они были призваны обеспечивать военно- и трудовомобилизационные мероприятия на территории города и контролировать население прилегающих территорий сельскохозяйственного профиля.

Столкновение градостроительных практик

При образовании Калининградской области на нее были полностью перенесены советские практики централизованного планирования, социалистического хозяйствования и административного управления территорией. При встрече с плотной сеткой городских поселений бывшей Восточной Пруссии советские градостроители ставили исторический малый город на разное функциональное место в рамках концепции территориально-промышленных комплексов (ТПК) с методикой районирования «районный город – столица района – столица области»: он становился либо центром сельскохозяйственного района (Озерск), либо локальным промышленным центром (Черняховск, Советск), либо городом-спутником в составе агломерации (Гурьевск). Самостоятельной ценности малый город в качестве уникальной формы социальной организации, локализованной в пространстве, для советской градостроительной практики не представлял. При подобном подходе интересы и предпочтения населения, его культурный уровень и уклад жизни, традиции и обряды, верования и самоидентичность в расчет не принимались. В Калининградской области эта практика была обострена тем обстоятельством, что собственно «местного населения» здесь уже не было, а переселенцы никакой укорененной идентичности не могли иметь в принципе [4, с. 146 – 156].

В результате с устройством новых административно-политических границ в области были сформированы 17 районов (впоследствии 13) со своими районными центрами (городами) и центрами сельских советов, а также 22 города, из них 8 (Балтийск, Гусев, Калининград, Неман, Светлогорск, Светлый, Советск, Черняховск) административно были подчинены областному совету народных депутатов, а остальные – районным и городским советам народных депутатов. В области были образованы поселки городского (Железнодорожный, Знаменск, При-



морье, Рыбачий, Янтарный), сельского типа (Низовье, Родники, Большаково); часть из них (Знаменск, Железнодорожный) ранее были городами. В новых историко-хозяйственных обстоятельствах их градостроительный смысл сводился к содержанию центральных администраций совхозов и колхозов, которые также были традиционными объектами комплексного проектирования советской градостроительной школы.

С понижением статуса городов до ранга поселков произошло не только «сжатие» населения относительно существовавших здесь ранее городов. Пострадала также старая городская инфраструктура: узкоколейки, трамвайные пути, брусчатые дороги с твердым покрытием, тротуары, парки, площади, квартальная застройка, капитальные здания со стилиевой архитектурой — все это ушло под табличку «деревня / село / поселок» с соответствующим к ним отношением. Некоторые города перестали быть стратегическими укрепленными пунктами (Неман, Советск), так как изменились внешние государственные границы и потерялось их значение как приграничных.

Так произошла градостроительная адаптация исторически сформированной системы расселения под новые цели и функции. Градостроительство в чистом виде, нацеленное на освоение новых территорий и возведение новых городов, в Калининградской области практически не велось: за период существования СССР на территории Калининградской области не было заложено ни одного нового города. Единственное исключение — образованный в советское время на месте немецкого поселка Циммербуде город Светлый, а также военные городки, но военно-ведомственный выбор места их размещения и организации пространства осуществлялись по сугубо военно-хозяйственной логике.

Несколько бывших поселков, наоборот, перешли в ранг городов в связи с активизацией специфических городских функций: Краснознаменск, уже упоминавшийся Светлый и три курорта — Светлогорск, Зеленоградск и Пионерский, последний из которых усилил свою рыболовецкую специализацию.

Необходимо отметить, что описанные обстоятельства «встречи» двух хозяйственно-градостроительных практик наложились на общий для всего СССР процесс «вымывания» населения из малых городов в большие, из больших — в крупные и мегаполисы. Это видно из динамики населения малых городов в СССР: в 1960—1990-х годах около 30 % малых городских поселений не развивались или активно теряли население [7, с. 167—175].



Три архитектурно-градостроительные эпохи советского периода: примеры и иллюстрации

Говоря о градостроительстве, архитектуре зданий и сооружений, следует подчеркнуть, что Калининградская область в этом смысле не имела собственных архитектурно-градостроительных особенностей, она застраивалась в соответствии с общими для всей страны тенденциями, которые, с одной стороны, отвечали государственной политике в области архитектуры и градостроительства, ее основным направлениям и изменениям, регламентированным жесткими установками советского правительства. С другой стороны, нельзя отрицать влияния общемировых тенденций на архитектурный процесс в стране и в области. Это в первую очередь видно на примере индустриализации и стандартизации проектно-строительного дела и, как следствие, перехода к проектам зданий, чья типология, номенклатура и технические регламенты утверждались к производству правительственными органами в лице Государственного комитета Совета министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР). Госстрой проводил единую для всей страны техническую политику в целях «повышения эффективности капитального строительства, обеспечения технического прогресса, повышения качества и сокращения сроков строительства, развития строительной индустрии, улучшения дела градостроительства и архитектуры, проектно-сметного дела, осуществления государственной экспертизы проектов и смет» [6], разрабатывал и утверждал общесоюзные нормы и технические условия строительного проектирования, сроки строительства, сметы, расценки, прейскуранты, ценники и т. п.

Условно можно выделить три градостроительные эпохи советского периода: сталинскую, хрущевскую и брежневскую.

В «сталинский» период происходило частичное восстановление и приспособление существующей застройки с минимальными инфраструктурными преобразованиями городов и поселков, а также началась установка новых знаков-символов и воинских мемориалов, имевших сакральные функции.

Второй и третий периоды связаны с индустриализацией строительства и типовым проектированием в принятой новой градостроительной идеологии строительства социалистических городов Советского Союза. «Хрущевский» период — становление новых проектно-



строительных технологий, начало строительства 3—5-этажных домов в типовых стандартах «советского модернизма» с применением «принципа свободной планировки» в градостроительной концепции. «Брежневский» период, пришедшийся на 1970—1980-е годы, отмечен ростом городов, комплексностью освоения территорий, обновлением репрезентативных территорий и реконструкцией центральных городских мест, чаще всего имевших идеологическую нагрузку (например, площадей), с активным применением для жилых районов «микрорайонной» градостроительной идеологии.

«Сталинский» период

В период градостроительной адаптации городов Калининградской области конца 1940 — начала 1950-х годов при передаче части Восточной Пруссии Советскому Союзу и депортации немецкого населения произошло одномоментное изменение всех городских традиций, в том числе профессиональных, в частности строительно-эксплуатационных. Это затронуло и региональный культурный вектор: западноевропейская художественно-строительная культура сменилась советской, что привело к изменению всей региональной ментальности, ценностных предпочтений, мировосприятия, включая восприятия «места».

Так как на тот момент политическая судьба Калининградской области в составе СССР была не до конца ясна, в «сталинский» период из областного центра и городов бывшей Восточной Пруссии осуществлялся целенаправленный вывоз качественного строительного материала: кирпича, обработанного камня, брусчатки, скульптурной и архитектурно-художественной пластики, а также ремесленных изделий (решеток, оград, элементов городского дизайна) [3]. В результате масштабной потери антикварного материала произошло существенное обеднение среды городов, которое так и не было восполнено в последующие годы. В тот период в Калининградской области силы в основном были направлены на расчистку руин, восстановление зданий и сооружений, находящихся в разрушенном состоянии, и на приспособление существующих строений под жилые и хозяйственные нужды. Полноценное строительство или реконструкция касались только тех зданий, которым предстояло выполнять важную хозяйственную, политическую или идеологическую функцию.



Рис. 1. Разрушенный Инстербург

Стилистическое господство сталинского неоклассицизма в те годы определило характер работ по реконструкции. Усилия были сосредоточены на строительстве и реконструкции репрезентативных зданий в областном центре и значимых городах области, что сопровождалось сменой декоративно-пластических форм и организацией обязательных площадей с памятниками В. И. Ленину и И. В. Сталину (идеологических символов), объектов партийно-хозяйственного назначения и домов культуры в районных центрах. Новый архитектурно-стилистический «макияж», применявшийся к реконструкции старых зданий, по замыслу должен был максимально скрыть черты «чужой», «немецкой» архитектуры и создать советскую монументальную парадность, свойственную духу 1950-х годов [4, с. 260].



Рис. 2. Первые попытки изменения характера исторической городской среды Черняховска (1950-е годы)



Рис. 3. Репрезентативные здания в Балтийске (1950 – 1960-е годы)

Особенность данного периода заключается в том, что все работы по реконструкции велись на основе исторически сложившейся планировочной структуры немецких городов и поселков, изменения касались исключительно характера фасадов восстанавливаемых зданий. По-



этому сформированная в те годы городская среда состояла из двух слагаемых — архитектурно-градостроительного немецкого качества и качества уже нового, советского периода, где гармоничность созданной среды основывалась как на использовании пропорций исторических стилей в проектировании (неоклассицизм), так и на применении традиционных строительных технологий. Это был, пожалуй, единственный за всю послевоенную историю пример относительно гармоничного, неконфликтного сложения городов (Кёнигсберга и Калининграда, Пиллау и Балтийска, Тильзита и Советска и др.) с профессиональной градостроительной преемственностью городов и поселков Кёнигсбергской и Калининградской области.

Архитектурный сценарий темы неоклассицизма можно увидеть во многих городах области. В Калининграде — здания от Драматического театра до Дома культуры рыбаков на просп. Мира и ул. Карла Маркса, в Гвардейске, Балтийске, Гусеве, Черняховске и Мамоново — железнодорожные вокзалы. В той же стилистической традиции выстроены (или восстановлены) здания администрации в Гурьевске и Славске, дома культуры в Мамоново, Большаково, Нестерове и Черняховске. Особый пример комплексного планировочного решения на основе неоклассических традиций — город Светлый, где были осуществлены крупномасштабные градостроительные работы.

Проекты реконструкции центров городов, как правило, разрабатывались по одному принципу: площадь с новым монументом (памятником В. И. Ленину, И. В. Сталину или военачальнику, чьим именем назван город) с трибуной для партийно-хозяйственной номенклатуры; бульвар, ведущий к нему, или сквер при нем (типовой элемент образа малого социалистического города) в окружении пары-тройки крупных лозунгов в монументальном исполнении. Набор архитектурно-градостроительных и декоративных форм был невелик, поэтому существующему разнообразию малых городов мы обязаны прежде всего оставшейся там исторической застройке.

Памятники В. И. Ленину в это и последующее время были установлены на главных площадях в Калининграде (сначала на площади Победы стоял памятник И. В. Сталину), Славске, Гвардейске, Советске, Гусеве, Правдинске, Краснознаменске, Балтийске, часто на старых немецких постаментах (например, в Советске). Благоустройство главным образом концентрировалось вокруг этих новых архитектурно-монументальных репрезентаций, имевших все черты ордерной неоклассической культуры — основы ценностных предпочтений сталинской эпохи.

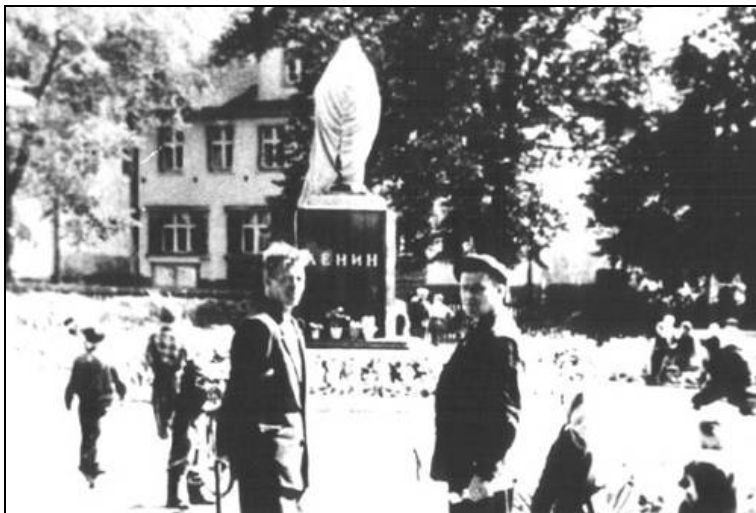


Рис. 4. Торжественное открытие памятника В. И. Ленину в Славске (примерно 1958 год)



Рис. 5. Памятник В. И. Ленину в Светлом (современное состояние)

Первоначально работы осуществлялись исключительно за счет ресурсов военных ведомств, силами строительных бригад или рот, а затем штатными военно-строительными отрядами, сформированными по линии Министерства обороны СССР. Источником стройматериалов были многочисленные «развалки».



К концу 1950-х годов в городах области практически были исчерпаны возможности восстановления и реконструкции разрушенных войной коробок зданий. Тогда же, в конце 1950-х годов, начала зарождаться база строительной индустрии и промышленности стройматериалов.

Особое место в градостроительной культуре городов с первых же дней образования Калининградской области занимала тема возведения военных мемориалов и памятников погибшим в Великой Отечественной войне. Их размещение играло важную роль в формировании городского пространства: по сути, они становились новыми ключевыми пространственно-смысловыми акцентами с сакральным оттенком. Облисполкомом в 1947–1950 годы был принят ряд решений о благоустройстве могил, об отпуске средств на проведение конкурсов на проекты памятников воинам, о типовых проектах памятников и надгробных досок.

Памятник 1200 гвардейцам стал первым советским памятником в Кёнигсберге (который тогда еще не был переименован в Калининград) и вообще первым на территории области мемориалом, увековечившим подвиг советских солдат, павших в Великой Отечественной войне. Решение о его создании было принято военным советом 11-й армии в начале мая 1945 года. Торжественное открытие монумента состоялось 30 сентября 1945 года. В 1946 году были установлены скульптурные группы «Штурм» и «Победа», а 9 мая 1960 года перед обелиском был зажжен вечный огонь. Участок проспекта, примыкающий к памятнику, является традиционным местом проведения военных парадов и шествий.



Рис. 6. Памятник 1200 гвардейцам в Калининграде
Архитекторы И. Мельчаков, С. Нанушьян, скульпторы Ю. Микенас,
Б. Пундзюс, П. Вайвада и др., 1945 год (1960-е годы)



В последующее время воинские мемориалы были возведены почти во всех городах и в большинстве крупных поселков Калининградской области.

«Хрущевский» период

С начала 1960-х годов в результате кампании по «борьбе с излишествами в архитектуре» и в связи с переходом к массовому индустриальному сборному домостроению в СССР начался социально-экономический эксперимент в архитектуре, который устанавливал диктатуру стандартизации и типового строительства, что, в свою очередь, предопределило новые принципы формирования городов, по которым «типология формы» должна была соответствовать «типологии жизни». Такое направление, получившее впоследствии имя «советский модернизм», с самого начала стало заложником энергично набирающего мощности строительного комплекса, ориентированного на изготовление сборных элементов в заводских условиях.

Проектирование жилищно-гражданских объектов в городах и поселках Калининградской области осуществлялось исключительно с применением типовых проектов (реализация программы «Каждому по квартире»). Вся строительная отрасль области была переведена на индустриальную основу; одновременно строились заводы по выпуску сборных железобетонных изделий для домов массовой застройки. Их применение приводило к качественным проблемам «при освоении центрального ядра» многих городов области, так как структура улиц и градостроительная идеология старых немецких городов вступали в противоречие как с советской проектной практикой в целом, так и с конкретными типовыми проектами.

Квартал как проектная городская единица, традиционная для Восточной Пруссии, был изъят из проектной практики; ему на смену пришли принципы «свободной планировки» (при которой дома могли «живописно» располагаться на стройплощадке и в ландшафте, сдерживаемые в своей «живописности» только санитарно-строительными нормами и стоимостью инженерных сетей) в своей полной или усеченной форме. Размах строительства-реконструкции в малых городах был по советским меркам небольшим: в областных городах численность населения можно было соотнести с численностью жильцов одного микрорайона в крупном городе. Поэтому масштабные градостроительные новации не применялись даже для таких крупных го-



родов области, как Гусев, Черняховск, Советск. В основном практиковалось строительство домов типовых серий, как сгруппированных в виде фрагмента микрорайона, так и стоящих по отдельности. Только традиция сквозной нумерации подъездов многоподъездных домов сохранилась в неприкосновенности — она берет начало от хозяйственной практики Восточной Пруссии и всей Западной Европы, в которой зачастую минимальной единицей домохозяйства был подъезд, а не квартира или все здание.

В «хрущевский» период выделяются два основных технологических направления в реализации жилищной программы сборного домостроения — крупнопанельное и крупноблочное строительство. Такое жилье, получившее распространение с середины 1950-х годов, впоследствии стало в Советском Союзе едва ли не единственной формой расселения. Всю архитектурно-строительную деятельность 1960-х годов можно разделить на два направления: массовое полносборное жилищное строительство типовых зданий и начало строительства новых образцов репрезентативных зданий.

Репрезентация «хрущевского» периода заключена в появлении архитектурного жанра «павильон», который очень точно отображает архитектурные искания тех лет, — от павильонности кинотеатра «Россия» и здания автовокзала в Калининграде до различных встроенно-пристроенных кафе и магазинов в городах области. Само понятие «павильон» отражает основные черты архитектуры 1960-х: сомасштабность человеку, романтическая открытость, лаконичная простота, легкость, элегантность. Не случайно одним из главных символов эпохи стали павильоны СССР на международных выставках; и именно из эстетики павильона вырастает такое знаково-новаторское для своего времени профессиональное событие, как «принцип свободной планировки».

На смену ансамблевой архитектуре улиц и площадей приходит принцип одномоментной тотальной пространственной застройки территорий, к тому же не предполагающей дальнейшего развития во времени. Здания с рациональной планировкой образовывали микрорайоны, из которых, в свою очередь, складывались города, вливавшиеся затем в территориально-производственные комплексы (ТПК). Формирование «нового социалистического города», принципиально отличного от существующих исторических прототипов, стало архитектурно-градостроительной идеологией весьма драматического периода, который начался в конце 1950-х годов и с некоторыми трансформациями продолжается по сей день.



а



б

Рис. 7. Репрезентативные здания павильонного типа
в Светлом (*а*) и Советске (*б*)



Местные архитектурно-планировочные процессы проходили на фоне общегосударственных: 1960–1980-е годы были для СССР эпохой урбанистического перехода, когда городское население выросло с 50 до 70 % всего населения страны [1]. В этих условиях описанные выше градостроительные принципы («павильонность» и «свободная планировка») легли в основу разработки в конце 1960-х годов первых генеральных планов городов области – Светлогорска, Полесска, Советска, Гвардейска, Балтийска и др.

«Брежневская эпоха»: от градостроения к домостроению

С совершенствованием технологии строительства и появлением улучшенных проектов типовых серий жилых зданий, основным пластическим приемом которых было чередование плоскости и вертикальных групп лоджий, в 1970–1980-е годы продолжилось освоение территорий в градостроительной идеологии «микрорайона». В то время интенсивно застраивались такие самодостаточные новые жилые районы, как Южный и Северный в Калининграде, возводились жилые комплексы в Черняховске, Немане, Советске, Балтийске, Светлом, где с укрупнением планировочного модуля полностью исчезло такое – в его традиционном смысле – понятие, как улица, превратившаяся в направление. Дороги становились магистралями, а «улица» как жанр «городской ткани» осталась только в названиях.

Микрорайон воспринимался как модель «нового быта», продукт научно-технического расчета необходимой жизненной среды, основа которой – предельный рационализм социальной эффективности. Он был главным действующим элементом формирования городской среды, где согласно системе градостроительного нормирования и правилам его застройки предусматривались, с одной стороны, определенная емкость комплекса жилых домов, с другой – многоступенчатость инфраструктуры их обслуживания: магазинов, детских и учебных заведений, соцкультбыта, отдыха, спорта, а также различных внутренних общественных пространств [2].

В данной градостроительной идеологии были подготовлены генпланы Светлогорска, Советска, Гвардейска, Полесска и других городов (руководители и главные архитекторы – Л. К. Илюхин и В. А. Харламов). Тогда же, в 1970-е годы, были разработаны проекты детальной планировки для отдельных городских узлов и кварталов Советска и Багратионовска.

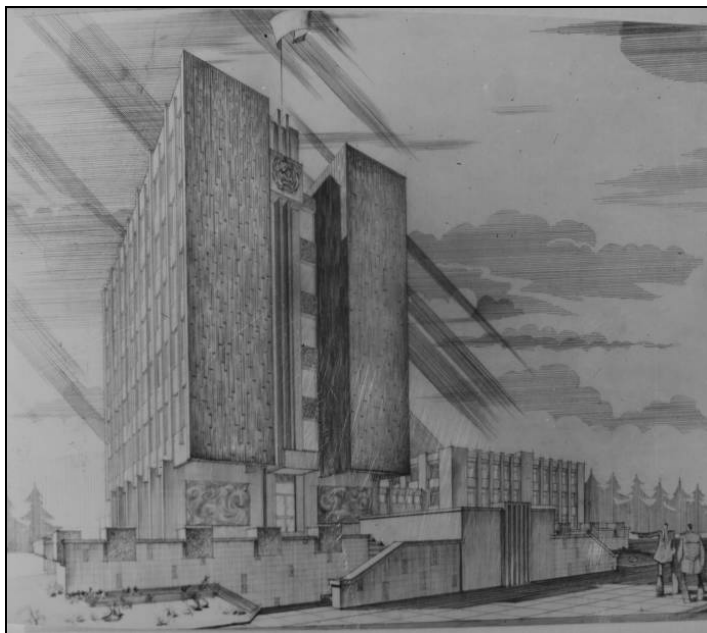


Влияние стройкомплекса на архитектуру: новые композиционные принципы

Прямая подчиненность проектных подразделений строительному комплексу привела не только к зависимости архитектора от логики стройиндустрии, но и к ставшей обычной практике «упрощения» проекта в процессе строительства по инициативе как самих строителей, так и заказчика. Это отражалось на уровне строительства: тотальная зависимость от типовых элементов сказывалась на качестве жилья, а реализация идеологии микрорайонной застройки в противовес квартальной влияла на характер градостроительного проектирования. К 70–80-м годам XX века стала действовать четко отлаженная «в общем конвейере» градостроительства система: от общих решений генпланов — к проектам детальной планировки (ПДП) отдельных градостроительных узлов и комплексов, затем — к разработке проектов, внедрению основных серий, модернизации существующих типовых проектов и, наконец, к реализации проектных идей на заводах стройиндустрии и строительных площадках.

В эти годы активно застраивались города области — Балтийск, Гусев, Светлогорск, Советск, Черняховск и др. Это потребовало создания проектов детальной планировки, проведения проработок, в том числе конкурсных, обустройства центральных площадей Нестерова, Гусева, Озерска, Черняховска, Балтийска и других городов, где уже применялись новые композиционные принципы планировки и художественного оформления городской среды.

В 1970-е годы в архитектуру постепенно возвращается эстетика поверхности стены, оштукатуренные плоскости которой все активнее начинают участвовать в формировании геометрии объемов зданий и решении их архитектурного образа. Такая тенденция приводит к возвращению в архитектуру зданий вертикальных и горизонтальных членений. По этому принципу строятся новые корпуса университета по ул. Александра Невского и телестудия на Нижнем озере в Калининграде, аэропорт в Храброво и железнодорожный павильон «Светлогорск-2». А с добавлением в композицию больших brutальных объемов свой характерный архитектурный облик получают киноконцертный зал «Октябрь» в Калининграде, клуб военного санатория в Светлогорске, ресторан «Прибой» в Зеленоградске, райком КПСС в Балтийске, Дворец культуры Неманского ЦБК. Бесспорным «законодателем мод» в тот период, совершенно очевидно, был строящийся Дом Советов в Калининграде.



а



б

Рис. 9. Проекты райисполкома в Нестерове (*а*) и райкома КПСС в Полесске (*б*) (индивидуальные проекты) (1970—1980-е годы)



Рис. 10. Ресторан «Прибой» в Зеленоградске (1980-е годы)



Рис. 11. Площадь с киноконцертным залом в Светлогорске



Отдельная тема — строительство санаторно-курортных комплексов в Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском, основным проектировщиком которых являлся «Курортпроект» (Москва). Данные объекты реализованы в русле общих эстетических принципов и концепций архитектуры СССР с ориентацией на западные образцы того времени.

Строительный бум 1970—1980-х годов

На 70—80-е годы XX века в Калининградской области приходится пик строительной активности советского периода. Впервые за свою послевоенную историю город начинает расти вверх: появляются первые 8—12-этажные жилые здания, репрезентативная функция которых усиливается сооружениями и объектами транспортной инфраструктуры (новый эстакадный мост, шестиполосные магистрали, двухуровневые развязки в Калининграде, лифт-подъемник и канатная дорога в Светлогорске, аэропорт в Храброво, мосты в Краснознаменске и др.).

В эти годы в результате осмысления планировочно-экономической организации всей территории области и в связи с принятием Комплексной схемы районной планировки Калининградской области существенно возросло внимание к курортному потенциалу области.

Будучи по своей сути «широкомасштабной», советская архитектурно-градостроительная культура «открытых пространств» требовала, соответственно, и масштабных благоустроительных работ. Акцент на эту тему делался на протяжении всей недавней истории в процессе формирования среды социалистического города, особых успехов удалось добиться в организации новых центральных общественно-рекреационных зон городов. На эти годы приходится активизация работ по внешнему оформлению и озеленению центров городов, широкое сотрудничество с художниками, скульпторами, дизайнерами в благоустройстве сначала курортной зоны (оформление спусков к морю и променадов в Светлогорске и Зеленоградске), а затем и других городов, что повлекло за собой масштабные проектно-планировочные и благоустроительные работы. Значительный вклад в создание малых архитектурных форм благоустройства, въездных знаков в города и поселки, а также различных декоративных форм монументального изобразительного искусства, обогативших городские пространства, был сделан Калининградским отделением художественного фонда при Калининградском отделении Союза советских художников.



Рис. 12. Благоустройство и декоративное оформление променада в Светлогорске (1980-е годы)



В 1970—1980-е годы на основе активного проведения конкурсов продолжилось строительство мемориалов. Следует отметить построенные в тот период в таких городах, как Багратионовск, Гурьевск, Озерск, Светлогорск, а также поселках Добровольск, Жилино, Корнево, Муромское, Нивенское, Низовье, Фурманово крупные мемориалы, которые отличаются эмоциональной выразительностью, свойственной советской эстетике того времени.

Государственная политика в области охраны памятников истории и архитектуры

Особенности образования области, значительные разрушения в результате военных действий, отсутствие документации на уцелевшие памятники, «чужая» художественно-эстетическая среда — все это традиционно препятствовало массовому восприятию немецких памятников как «собственного достояния». В Калининграде повсеместной стала практика сноса кирх, являвшихся чуждыми для советского человека образцами религиозной архитектуры. По области такой практики не наблюдалось (наверное, в силу того, что главный город края был более идеологически «наблюдаем» различными столичными гостями): в лучшем случае в бывших кирхах устраивали склады.

В первый год образования области был поднят вопрос о взятии под охрану государства мемориального портика Иммануила Канта «Стоа Кантиана»; сразу же после войны был восстановлен памятник Фридриху Шиллеру в Калининграде. Все эти действия касались отдельных небольших объектов, подобная практика локальной «защиты» не распространялась на собственно архитектурную или градостроительную ткань городов молодой советской области. Основной практикой являлись банальный ремонт и приспособление зданий к новым нуждам без оглядки на их историческую ценность.

Начатые после войны работы по обследованию и учету памятников истории и культуры должны были получить планомерный характер после принятого облисполкомом в 1950 году решения №196 «Об учете, паспортизации и охране исторических и археологических памятников искусства и архитектуры», однако этого не произошло. Лишь в 1964 году сотрудники Центральных научно-реставрационных мастерских Министерства культуры СССР обследовали самый древний на калининградской земле замок — Бальга. В дальнейшем велось изучение состояния культовых сооружений Восточной Пруссии — приходских церквей Кведнау, Юдиттен, Луизен, Кафедрального собора в Калининграде, приходских церквей в Правдинске, Черняховске, Багратионовске, Гурьевске и др.



Постановлением Совета министров РСФСР в 1965 году было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. В соответствии с ним на основе решения Калининградского облисполкома в том же году было организовано Калининградское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. С этого момента активизировался процесс постановки на учет памятников истории и архитектуры регионального и федерального значения. По сути, это было запоздалое советское следование общему для всей послевоенной европейской истории процессу осознания исторического города как историко-архитектурной ценности с переносом значимых акцентов с отдельных зданий на историко-ландшафтные комплексы (парки «Бальга» и «Первомайский» в Ладушкине Багратионовского района, парки «Сосновка» и «Морозовка» в Зеленоградском районе). Итогом десятилетней работы Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и местных властей стало решение облисполкома №246 от 1976 года, которое зафиксировало на территории Калининградской области 274 памятника истории и культуры, в число которых вошли и воинские мемориалы Второй мировой войны.

Но партийно-хозяйственное руководство области понимало, что недостаточно просто поставить на учет памятник — необходимо содержать его в надлежащем виде. С этой целью в 1975 году облисполком была сформирована производственная группа управления культуры по охране и эксплуатации памятников истории и культуры. Однако общая практика доминирования строительного комплекса над задачами архитектурного качества свела деятельность новосозданной организации к ремонтно-восстановительным работам на объектах истории и культуры. Региональная реставрационная школа, которая мыслилась ключом к сохранению историко-архитектурного наследия, так и не была создана.

В период 1960—1980-х годов подписаны несколько международных документов, регулирующих отношение мирового сообщества к историческому наследию. На II Международном конгрессе архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам (Венеция, 1964) была принята Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская хартия одобрена ИКОМОСом в 1965 году), зафиксировавшая фундаментальные принципы, которыми необходимо руководствоваться при консервации и реставрации памятников. К началу 1970-х годов достигли пика дискуссии о подлинности в мировом реставрационном обществе, и в 1972 году на 17-й сессии Генеральной конференции



ЮНЕСКО утверждена Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия, которая была ратифицирована СССР в 1988 году. Конвенция провозгласила международную ответственность за сохранение глобально значимых культурных и природных объектов, независимо от того, в каком районе мира они располагаются. Союзные власти, двигаясь в русле общемировой тенденции, приняли в 1978 году закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры», который приводил в систему существующий процесс охраны памятников и давал ему дополнительную легитимность. С этого момента начался следующий этап включения архитектурного и исторического наследия в хозяйственный оборот.

Одна из проблем, с которой сталкивался хозяйствующий субъект при желании восстановить историческое здание, прежде пребывавшее в руинах, — это наполнение его новой функцией. Фортификационные сооружения и церковные здания уже не могли быть фортификационными и церковными, и потому параллельно с заботой о «теле здания» нужно было проявить заботу о его «душе». Требовался крупный региональный культурный проект, в котором реставрационной составляющей отводилось бы значительное место, и такой проект мог существовать только при «сильном политике». В 1970—1980-е годы такие проекты генерировал и реализовывал председатель горисполкома Калининграда Виктор Денисов, который вместе с городскими архитекторами посредством реставрации / реконструкции / приспособления сохранил и дал жизнь нескольким крупным историческим объектам. Их совместными стараниями две кирхи в Калининграде поменяли функцию с религиозной на культурную и стали Органным залом филармонии (кирха Святого Семейства) и Театром кукол (кирха Луизы). В бастионе-башне Дона разместился филиал историко-художественного музея «Музей янтаря» (на тот момент — филиал Историко-художественного музея); восстановлены и наполнены новой функцией Росгартенские городские ворота, в которых находится сейчас ресторан «Солнечный камень».

Эти проявления гражданской позиции, реализованные муниципальными органами, тем не менее представляют собой единичные примеры и относятся к отдельным объектам. Не было практики рассмотрения исторической среды городов как целого, и уж тем более исследования и постановки на учет восточнопрусских памятников градостроительного искусства в Калининградской области. Признание комплексной исторической застройки в СССР той поры было уместно в Ленинграде или в российских городах Золотого кольца, но уж никак не в бывшей Восточной Пруссии...



Перестройка, начавшаяся в стране, вывела из тени тему исторического и культурного наследия: журналы и газеты стали активно публиковать материалы, посвященные памятникам архитектуры и истории; открыли, рассекретили многие архивы, начали издаваться книги по данной тематике. Но если в «остальном» СССР (за исключением республик Прибалтики) «возвращение Истории в общественный оборот» означало прежде всего актуализацию того, что было построено в царской России, то в Калининградской области – снятие «табу» на немецкую историю территории.

Параллельно с тем как в стране происходило общественное «возвращение Истории», союзными властями был сделан следующий шаг к технологизации охраны исторического наследия. В 1986 году вышел приказ Министерства культуры СССР «Об организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», на основе которого (хоть и с некоторым опозданием) в начале 1990-х годов стали разрабатываться проекты охранных зон в Калининграде и Немане; однако в связи с разрушением институциональной основы советской проектной и градостроительной практики и распадом СССР они так и не были утверждены.

Заключение

Советский период дал городам Калининградской области новую градостроительную парадигму, наложенную поверх исторических планировок, привел к повышению высотности жилой застройки, создал новый символический контекст общественных пространств и обусловил длящуюся по настоящее время мутацию бывшего «социалистического города». Последняя заключается в кризисе советской методологии «градообразующих факторов» и производственно-функциональной парадигмы, доктрины микрорайонного индустриального стандарта, а также соответствующей проектной практики и идеологии.

Осознание кризисов заставляет искать иные пути организации города в новых идеологических, политических, социально-экономических и культурологических условиях. Одним из необходимых условий такого поиска становится обращение к исторической рефлексии в отношении как немецкого градостроительного периода малых городов Калининградской области, так и советской части их истории.



Список литературы

1. Баканов С. А. Малый советский город 1960—1980-х гг. в зеркале отечественной урбанистики // Новый исторический вестник. 2003. №1 (9).
2. Бочаров Ю. К. К проблеме «оптимального города» // Архитектура СССР. 1960. №5.
3. Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: Первые годы Калининградской области в воспоминаниях и документах. Калининград, 2003.
4. Костяшов Ю. В. Секретная история Калининградской области. Калининград, 2009.
5. Манкевич Д. В. О проведении и некоторых итогах Всесоюзной переписи населения 1959 г. в Калининградской области. URL: <http://www.gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-8/423--1959-> (дата обращения: 10.12.2012).
6. Положение о Госстрое // СП СССР. 1968. №3.
7. Холина М. В. Исследования истории малого советского города в отечественной и региональной историографии // Современные проблемы науки и образования. 2009. №3.

Oleg Vasyutin, Alexander Popadin

THE URBAN PALIMPSEST: THE URBAN DEVELOPMENT PRACTICES IN THE KALININGRAD REGION (1945—1990)

This article examines the adaptation of historically developed East Prussian settlement system to the new objectives and functions during the formation of the Kaliningrad region. The author offers an overview of the basic urban development trends in the course of the region's formation in the ages of Stalin (partial restoration and adaptation of the existing buildings with the minimum infrastructural transformations of towns and villages), Khrushchev (the development of new design and construction technologies and standards of the "Soviet modernism"), and Brezhnev (urban expansion, complex cultivation of territories, rejuvenation of representative and central urban sites).

Key words: *architecture, urban development, city, preservation of cultural heritage.*

Об авторах

Васютин Олег Иванович – реставратор, архитектор, градостроитель, член Союза архитекторов России, Градостроительного совета Калининградской области, Совета по культуре при губернаторе Калининградской области (Калининград); oleg.vasyutin@mail.ru

Ведела Анастасия Викторовна – докторант факультета гуманитарных наук Латвийского университета (Рига); anastasija.vedela@gmail.com

Гильманов Владимир Хамитович – доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной филологии и историко-сравнительного языкознания БФУ им. И. Канта (Калининград); gilmanov.wladimir@rambler.ru

Гордин Андрей Александрович – докторант факультета гуманитарных наук Латвийского университета (Рига); andrej.gordin@gmail.com

Дарьялова Людмила Николаевна – кандидат филологических наук, почетный профессор БФУ им. И. Канта (Калининград); post@kantiana.ru

Костанди Елизавета Илмаровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Тартуского университета (Эстония); jelizaveta.kostandi@mail.ee

Погодина Светлана Игоревна – докторант факультета гуманитарных наук Латвийского университета (Рига, Латвия); spogodina@inbox.lv

Польцыя Наталья Олеговна – аспирант кафедры славяно-русской филологии БФУ им. И. Канта (Калининград); n. polytsya@gmail.com

Попадин Александр Николаевич – литератор, культуролог, публицист, член президиума Совета по культуре при губернаторе Калининградской области (Калининград); popadin39@gmail.com

Сиари Жерар – д-р гуманитарных наук, профессор Университета Поля Валери – Монпелье III (Франция); gerardsiary@gmail.com

Шервашидзе Вера Вахтанговна – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии РУДН (Москва); post@kantiana.ru

About authors

Oleg Vasyutin, restorer, architect, city planner, member of the Russian Union of Architects, member of the City Planning Council of the Kaliningrad region, member of the Council for Culture under the governor of the Kaliningrad region (Kaliningrad); oleg.vasyutin@mail.ru

Anastasija Vedela, post-doctoral student, Faculty of Humanities, University of Latvia (Riga); anastasija.vedela@gmail.com

Prof. Vladimir Gilmanov, Department of International Philology and Comparative Linguistics, IKBFU (Kaliningrad); gilmanov.wladimir@rambler.ru

Andrej Gordin, post-doctoral student, Faculty of Humanities, University of Latvia (Riga); andrej.gordin@gmail.com

Dr Lyudmila Daryalova, Honorary Professor of IKBFU (Kaliningrad); post@kantiana.ru

Dr Jelizaveta Kostandi, Associate Professor, Department of the Russian Language, University of Tartu (Estonia); jelizaveta.kostandi@mail.ee

Svetlana Pogodina, post-doctoral student, Faculty of Humanities, University of Latvia (Riga, Latvia); spogodina@inbox.lv

Natalya Polytsya, PhD student, Department of Slavic Philology, IKBFU (Kaliningrad); n.polytsya@gmail.com

Alexander Popadin, writer, cultural studies scholar, journalist, member of the panel of the Council for Culture under the governor of the Kaliningrad region (Kaliningrad); popadin39@gmail.com

Gerard Siary, Professor of Comparative Literature, University of Montpellier III (France); post@kantiana.ru

Prof. Vera Shervashidze, Department of Russian and International Philology, Peoples' Friendship University of Russia (Moscow); post@kantiana.ru

СЛОВО.РУ:
БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

2013

№ 1

Редактор *М. В. Королева*. Корректор *М. В. Бурлетова*
Компьютерная верстка *Г. И. Винокуровой*

Подписано в печать 20.01.2013 г.
Формат 70×100 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 10,2
Тираж 1000 экз. (1-й завод 150 экз.). Заказ 65

Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14